



Сергей БАГРОВ

# СОРОЧЬЕ ПОЛЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АРХАНГЕЛЬСК

1978

## СОДЕРЖАНИЕ

### Рассказы

Семь березовых голиков . . . . .	5
Сыновья и гости . . . . .	8
Под тесовой крышей . . . . .	13
Овсяное зернышко . . . . .	18

### Повести

Третье диво . . . . .	25
Сорочье Поле . . . . .	64

Багров С. П.  
Б14 Сорочье Поле. Рассказы и повести. Архангельск,  
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1978.  
120 с. с ил.

Первая книга молодого вологодского писателя Сергея Багрова «Колесом дорога» вышла в Северо-Западном издательстве в 1975 году. Ее составили рассказы о сельских тружениках. «Сорочье Поле» — вторая книга автора, она также посвящена людям современной вологодской деревни, их судьбам и сложным взаимоотношениям, повседневным делам и острым проблемам. В этот сборник вошли новые рассказы и повести.

Б  $\frac{0732-014}{M157(03)-78}$  4-14-78

Р2

## Багров Сергей Петрович

### СОРОЧЬЕ ПОЛЕ

Редакторы В. С. Степанов и В. А. Беднов. Оформление художника Е. И. Мартышева. Художественный редактор В. С. Вежливцев. Технический редактор Н. Б. Буйновская. Корректор М. М. Михайлова

---

Сдано в набор 8. II. 1978 г. Подп. в печ. 13. II. 1978 г. Форм. бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
(бум. тип. № 1). Физ. печ. л. 3,75. Усл. печ. л. 6,3. Уч.-изд. л. 6,359.  
Тираж 15000. . . . . ГЕ04216. . . . . Цена 55 коп. . . . . Заказ 956.

---

Северо-Западное книжное издательство,  
Вологодское отделение, Вологда, Урицкого, 2.  
Областная типография, г. Вологда, Челюскинцев, 3.



# РАССКАЗЫ

## СЕМЬ БЕРЕЗОВЫХ ГОЛИКОВ

Ночь. Морозец. Снежный проулок. Над ним небо в кострах созвездий. Неудобно кого-нибудь беспокоить: все спят. Но невдали, за первым подворьем, слышатся кашель, шаги. Странно видеть в такой час фигуру в кожаном фартуке. На плече у встречного молодая береза с густыми ветками, не стряхнувшими индевелость. Захотелось узнать про эту березу, но спрашиваю другое:

— Как живем?

Человек, оказавшийся стариком, с хрустом всадил березу колом в снег.

— Живем — во! — он протянул к моему лицу таким желтым огарком свечи тот самый палец, с помощью которого, наверное, не раз доводилось ему оценивать жизнь. — А ты, друг ситный, чей будешь?

Я сказал о цели приезда. Но старику этого было мало. Он посмотрел на меня сверху вниз.

— Родом-то, родом отколь?

— Из Тотьмы.

— Э-эк! — старик улыбнулся, блеснув большим, вероятно единственным зубом. — Да мы с тобой, выходит, почти земляки! Я ить бывал в Тотьме-то! Бывал! Правда, в двадцать которм-то годе. За бабой ездил туда. Привез! Потом, конечно, она померла. Царство ей небесное. Один и живу вот...

По лицу старика неожиданно скользнула улыбка. Он схватил меня за предплечье.

— Пойдем-ко давай! А? Ко мне! Посидим! — и он пошел, покачивая березой.

— Голиков из нее понаделаю, — сказал, — штук восемь выйдет, поди.

— На продажу их?

— Бог с тобой! Продаваньем не занимаюсь. Так это я, по пути. Ходил в ближний сузенок рубить на тракторные сани ольшин. Вот и ссек ее для заделья.

Во дворе пятистенка, куда мы вошли, под пригнетом тускневшего снега стояли поленницы дров. Наготовлено их было, по меньшей мере, зимы на две вперед.

— Вон сколько дров! Зачем еще-то рубить?

— Э-э, друг!— хихикнул старик.— Так ить я не себе. Просят людишки. Тому подсоби, другому. Самим-то, вишь, недосуг: рóбят в колхозе, у старух здоровья нет. А я на пенсию вышел. Времечко есть. Вот и промышляю. Ноне уж на осьнадцать саней нарубил.

— За деньги, конечно?

— А что? Не дикой я, чтоб бесплатно. Деньги-то мне для внука нужны. Посылаю ему каждый месяц. Олександр-от мой по науке пошел. Третьей год на арихметика учится.

— А отец, мать где у него?

Спина старика вдруг осела:

— Нигде. Померли ешшо в сорок восьмом. Я один у него родитель.

Старик взошел на крыльцо, открыл дверь, дохнувшую мраком нежилого чулана, на ходу посоветовал:

— Ноги тут не сломай.

Коридор был темнее туннеля. Он привел нас еще к одной двери.

— Вот и дома,— сказал старик. Он щелкнул выключателем — и вспыхнул яростный свет.

В доме было тепло, одиноко, просторно. Печь, ровесница старику, вся в глубоких кривых морщинах, глянула на меня темным устьем печально, точно жалуясь на свою вдовью участь. Побуждали взглянуть на себя стол с витыми ногами, лавка с коником вдоль двух стен, сундук в шахматной клетке и франтоватый толстяк самовар.

— Звать-то меня Митрей,— сказал старик, раздеваясь,— а тебя, стало быть, Сергием? Хорошее имечко. Гордоватое, правда. Но ить это не шшо. Отца у меня тоже Сергием звали. Кто-то сказал, что имя господское. Вот и стеснялся, как девка. А ты, стало быть, не стесняешься?

Раздевшись, Дмитрий Сергеевич стал какой-то смешной, необычный: голова без волос, тело тощее. Стоял на

месте две-три секунды, смекал что-то про себя, помогая при этом костяшками пальцев. Костяшки сначала прошили по рубахе, потом по длинному подбородку и, наконец, по губам. И как только пальцы от губ отскочили, Дмитрий Сергеевич сорвался. Схватил самовар, дунул в его черную горловину, запалил от спички лучину. Потом достал из печи две плошки. Пар поплыл по избе, вкусный, теплый, в белых колечках. И «Стрелецкая» появилась, и грибки под нее.

Дмитрий Сергеевич, казалось, был в ударе. Я следил за полетом его рубахи. Она металась по кухне, словно ее гонял ветер, к сеням, к полатам, к дверцам голбца, и порой мне думалось, что старик обладает, кроме одной законной, еще и дополнительной парой ног.

— Ну и бегаєте вы!

Дмитрий Сергеевич остановился. Поглядел на меня, как сквозь воду, сверкнул единственным зубом:

— Покуда шевелишься, ситный друг, дак и чувствуешь себя человеком. Все дело в работе. Без нее мне нельзя. Для души она, мил-дружок. Прежде, в молодости-то, каретником был. Ладил сани. Для купцов — выездные, со зверьками да птичками. А для нашего брата, для крестьян да казаков, попроще, вроде розвалень или дровень. Потом кузнечил. Это уж при колхозе. На карауле стаи стоял. Самое пущее для меня наказание — когда ничего нельзя делать. На собранье, бывало, придешь, все равно как на казнь какую. Голова еще ничего, как положено, на плечах, а с руками никакого нет сладу. Без движенья-то они не привыкли. Так и ерзают, так и вихляют. Не заметишь порой, как заедешь ими на чужие коленки. И хорошо, коль соседу заедешь. А то случалось, что и соседке. «Шшо ты шшупаешь-то, Митрей? Али я тебе прости господи?!» — рывкнет та на весь зал. «Багулой бы тебе обожраться!» — бормочешь сквозь зубы. А смех дичая лесного со всех сторон на тебя. Вот какне пироги едывать приходилось...

Половина первого ночи. Мы сидим за столом. Хорошо, когда длинный день позади и спешить никуда не надо, всё на месте и рядом такой собеседник!

— Ну-ко, примем ешшо! — восклицает старик.

Но не пришлось. Кто-то быстрый и шумный пробежал по сеням. И оттуда донеслось:

— Митрей! Ну-ко! Три коровы отелились на стае! Как да худо с имя?

Дмитрий Сергеевич встрепенулся, глянул мимо меня, словно прежние беды вспоминая, быстро снял со стены телогрейку. Дверь за ними захлопнулась. Тишина.

Тишина и там, за мерзлым стеклом, где стоит холодная зимняя ночь, украсив себя кистями созвездий. Под их мертвенным светом на белой тропе — две чернеющие фигурки. Всё идут и идут — от меня вдаль, к еловой опушке. Вероятно, там колхозная ферма...

Утром встал я со странным чувством, точно что-то вдруг потерял, а терять-то не надо было. На столе, возле жаркого самовара, сковородки с картошкой и белого каравая, лежала записка:

«Сергей. Ты командуй как дома. Меня до потемок не будет. Поехал на тракторе за общественным сеном».

Я растерянно посмотрел на дышавшую жаром старую печь, на разостланный половик, на стол с белобрюхим самоваром. Еще более меня удивили семь березовых голиков, что лежали под лавкой и расточали по кухне запахи зимнего леса. Для чего ему столько? Целых семь? Я задумался и услышал: «Продаваньем не занимаюсь... Так это я, для заделя... Без работы нельзя мне... Самое пущее для меня наказание — когда ничего нельзя делать...»

Голос старика шел из прожитой ночи и казался далеким и древним, но понять его мне было легко.

...Час спустя я шагал по открытому полю. За лесным перевалом в лучах зимней зари лежали северные деревни. Там, наверное, жили такие же старики, как и Дмитрий Сергеевич, про которых в здешних местах говорят:

— Даром что жизнь годы съела, — руки небось любой работе дружки, язык востёр, голова при семи палатах.

Хорошо бы встретиться с ними. Со всеми.

## СЫНОВЬЯ И ГОСТИ

Ветки берез мелко вздрагивают, роняя на землю тихие листья, от которых во все стороны льется слабый ласкающий свет. «Газик» урчит покойно и добродушно, колеса его, будто боясь обидеть дорогу, бегут, едва прикасаясь к земле.

Возле расшатанных белых прясел, похожих на скачущих по угору козлят, мы настигаем старушку с батогом и хозяйственной сумкой. Уступая дорогу, она метнулась через канаву и долго не понимала, почему машина остановилась возле нее и даже дверца открылась, а из машины вышел шофер и что-то ей весело объясняет. Наконец до старушки дошло, что ей предлагают место в машине. Ах, как она удивилась!

Старушка сидела на заднем сиденье, рядом со мной, застыв в каком-то благобно-робком оцепенении. Навстречу летели поля со скирдами рыхлой соломы, геодезической вышкой и толпами придорожных рябин, полыхавших гроздьями ягод. За полями на длинном угоре открылась деревня: два низких бескрыших овина, деревянные погребки, в которых хранится зимой картошка, и четыре посада высоких изб.

Был ранний вечер, и солнце спускалось за косогор, поливая лучами кровли, колодец с большим колесом и девочку на заборе. Старушка обеспокоенно заозиралась, что-то хотела сказать, и нам стало ясно, что мы проехали ее дом. Развернувшись, машина подошла к колодцу и встала, едва не заехав на крашеное крыльцо.

— Сюда? — обернулся шофер.

— Гой, куколки! Гой, спасибо! — Старушка зашеборшила ладонями по сиденью, забирая батог и сумку. — Честь-то какая! Ну-ко, к самому крыльцу! Что деется, гой! У всей деревни на виду в начальниковой машине! Чего старик-от мой скажет? Да вот он и сам! Лексей! — крикнула с повелительной ноткой в голосе. — Прймай гостеньков!

Мы не успели выбраться из машины, как возле нас забегал юркий, тоненький старичок с серебряной бородой и синими радостными глазами. Помахивая сжатой в руке старомодной фуражкой, он заподталкивал нас к крыльцу:

— Ходчей, ребята, ходчей! Выставай на крылѐц! Ну-ко, такое дело! Старуху мою подвезли. О-го-о!

Пройдя в покой избы, мы уселись на лавку и закурили, а хозяева хлопотали. Уж чего-чего только не было на столе, а они приносили и приносили: и соленые огурцы, и рыжики в масле, и холодное мясо, и пироги с голубицей, и мед, и горячие щи. Последним поставлен был самовар, полыхавший сквозь решетку поддонника розовым жаром.



Мы пересели к столу. Угощаемся, отдыхаем — будто мы дома, возле матери и отца, которые встретили нас после долгой разлуки.

— Сами-то дальные? — наконец спрашивает хозяйка. Мы ответили.

— Гой, куколки, из кой далины! И часто, чай, это вы?

— Что часто?

— Да в путях-то-дорогах живете?

— Частенько.

— А мы как привязаны ко двору. Все на одном местечке. Стронуть-то нас отселя, гой, как трудненько. За пять километров сползаешь в магазин — вот и вся наша дорога.

— Неужели всю жизнь никуда из деревни не выезжали?

— Мы домоседные с малых лет. Никуда не отлучались.

— Ты что, Антонида,— поправил ее супруг,— я-то ведь отлучался. На целых четыре года, пока война шумела. А ты говоришь!— Он встал, серебристобородый, тонкий, в бязевой теплой рубаше и валенках с загнутыми верхами. Взял со стряпного стола пустую консервную банку, поставил на подоконник, снова уселся и закурил.— Да и ты отлучалась. Али Устье забыла? Пийсят небось верст отмахала туда да эстоль же и обратно.

— Гой, правда, ребята!— вспомнила Антонида.— Ходила на Устье. Было такое, было. Реки-то большой не видела никогда, а тут на нее как вышла, да как углядела, что плывет по ней двухэтажная церква, так я от страху и задрожала.

— Это она пароход за церкву-то приняла!— объяснил хозяин.— И было же там потехи! Все Устье тогда от смеху понадрывалось.

Мы напились чаю и хотели было ехать дальше, но Алексей закипятился, пробежал по кухне, встал на порог и раскинул руки.

— О-го-о! Выдумали чего! А кто ночевать у нас будет? Не! Не! Лучше не сподобляйтесь! И не пущу!

Мы снова уселись на лавку и понимающе улыбнулись. В конце концов это не так уж и плохо, когда тебе предлагают ночлег.

Шофер, уставший больше всех от длинной дороги, нашел себе стопку журналов «Крестьянка», зевнул и стал

листать. Фотограф начал возиться с аппаратурой. А я огляделся по сторонам.

По левую руку от входа — печь с дощатой заборкой, по правую — ситцевый полог, скрывавший большую кровать, и деревянная лавка. На стенах голым-голо: ни полотенец, ни зеркала, ни фотографий, какие обычно бывают в каждой избе. Однако... Я повнимательней посмотрел и в углу, под божницей, заметил три совсем новых парусиновых картуза — белого, черного и зеленого цвета, с упруго натянутой тульей и твердыми козырьками.

— Чьи?— спросил я старую Антонида, убиравшую со стола.

Она на какой-то миг растерялась, тряпка выпала из рук, по морщинистому лицу проскользнула тень тревоги. Но оправилась тут же, вытерла ладони о ситцевый сафран.

— Эта вот,— указала на белый картуз,— Вани. Эта,— перевела палец на черный,— Коли. А эта — Юры,— сказала про зеленый картуз.

Меня осенила догадка, что это фуражки ее сыновей, которые очень давно не бывали дома.

— Это ваши, стало быть, сыновья. А живут они где? Наверно, в городах?

— Гой, нет. В городах, стойно нас, не живали. Все трое в земельке.

Мне стало как-то не по себе, словно я подглядел чужое несчастье, которое тщательно скрыто от всех и не надо его тревожить. Досадуя на себя, я сидел и растерянно слушал, как хозяйка, шурша тряпкой по краю стола, негромким голосом говорила:

— На войну одного за другим забрали. Старшего — в сорок первом, среднего — в сорок втором, а малого — в сорок третьем. Никто не вернулся.

— А фотокарточки сохранились?

— Гой, нет. Фотокарточек не бывало. Только эти картузики и остались. Цвет разной, размер одинакой. Покупали их в тридцать девятом на Устье.

— Это когда церковь-то спутали с пароходом?

— Ага. Четыре штуки купила — на сыновьев да на батьку. Только один картузик теперь на головке, а могли бы и все четыре, кабы не эта война...

Убрав со стола и задернув белые занавески, Антонида уселась на табуретку и, подперев подбородок рукой, по-

вела подробный рассказ. Сперва про своих «парнеков», после про то, как вернулся с войны ее муж, как жили они вдвоем, смертно тоскуя по сыновьям, как шли и дошли по житейской дороге до стариковских годов, в которые только тогда и бывает отрадно, когда в покои их дома заходит нечаянный гость.

— Теперь у нас три гостенька,— сказала хозяйка, вставая, и, сняв с деревянных катушек один за другим все три картуза, поглядела на нас с надеждой:

— А ну-ко, примерьте! Пожалуста! Коли можно...

Мы взяли по картузу и, осторожно надев, посмотрели на старую Антониду. Она стояла в своем полосатом ветхоньком сарафане и водила ладонью по подбородку. Глаза ее были тусклы, и в них томилось желание что-то узнать или вспомнить. Быть может, глядя на нас в этих ненашенных картузах, она хотела увидеть те невозвратные дни, когда жили она и ее Алексей сердце в сердце с любимыми сыновьями...

— Четвертый-то где картуз?

— У хозяина. Он как с войны воротился, да как надел на свою головку, так до сих пор не сымает.

Мы обыскали глазами кухню и, не увидев хозяина, удивились:

— Дед-то куда твой девался? Вроде только что был?

— На колхозном дворе,— улыбнулась хозяйка, подходя к распахнутой двери,— сторожит там коров. Мы с им подменно на этом деле. Ночь он да ночь я...— Шаги ее застучали по половицам сеней, и мы поспешили снять картузы и повесили их вновь на катушки.

Возвратилась она минут через пять с голубым широким матрасом.

— Сейчас устелю я вам. Одному на кровати, второму на голбце, третьему в той половине. Сыновье-то у нас как раз по этим местечкам спали...

Было тихо, тепло, где-то на печке мурлыкала кошка. Шофер и фотограф заснули мгновенно. А я долго ворочался с боку на бок. От мысли, что мы занимаем места, на которых могли бы сейчас отдыхать сыновья хозяев, становилось как-то неловко, и в сердце, странно его волнуя, рождалось сочувствие к жителям этого дома...

Утром нас ожидал клокочущий самовар.

Позавтракав, мы попрощались со стариками, не забыв положить на угол стола три бумажных рубля, и вышли в сени, но стремительный Алексей, все в тех же

валенках с загнутыми верхами, в той же теплой рубаше, догнал нас, сунул обратно деньги и умоляюще улыбнулся.

— Этого не берем. Хватает покуда. А уж коли охота вам расквитаться, так прокатите меня на машинке! Вчера старуху катали, седни — меня.

«Газик» бежал от посада к посаду. Из передней дверцы, высунувшись по пояс, сияя серебряной бородой, махал сжатым в руке картузом не спавший всю ночь Алексей, крича при этом так громко, что от нас шарахались курицы и собаки:

— О-го-о! Игнашка! Это я! Видишь?

— Тимофей! Мотри! Мотри воба! Кто едет-то? Э-э!

— Товарищи девки! Вот-ка я! Сам Лексей Никонович Домородцев! Завидно небось? О-го-о!!!

Наулыбавшись и накричавшись на всю деревню, Домородцев выбрался из машины и, донельзя убаженный, нахлобучил свой неизносный картуз.

А машина двинулась дальше, принимая на себя мягкий свет продравшегося сквозь ельник большого желтого солнца.

## ПОД ТЕСОВОЙ КРЫШЕЙ

Деревня начиналась с темного, уставшего от времени пятнстенка, по опушке расшитого древесными кружевами, которые уже побурели и местами покрылись лоснящимся мхом. Дальше стояла изба прошлогодней постройки. От избы веяло чем-то временным, торопливым: углы не опилены, окна в грубо сколоченных рамах. Чуть поодаль, за стаей берез, поднимались два истемна-серых дома, на охлупнях крыш которых застыли головы чутких коней, вот-вот, казалось, готовых стронуться с места и прямо по воздуху поскакать в голубую вечернюю мглу. За этим домом, как неразлучные сестры, шли подряд три новых избы в такой вызывающе желтой краске, что больно было на них смотреть. Потом — снова два пятнстенка со следами былой утраченной красоты. А дальше — опять новый дом. Казалось, что кто-то нарочно смешал все дома, выставив на первый план старые, а на второй — молодые.

Вероятно, подумал я, здесь жил когда-то большой дре-

водел, оттого у старых домов вид осанисто-важный. А сейчас древодела, наверное, нет, потому лица новых домов такие неряшливо-стертые.

Я прошел почти всю деревню и неожиданно остановился, словно кто-то меня позвал. Оглянулся — на фронто-не избы, подпирая тесовую крышу, стоял босой двух-метровый мужик. Я протер ладонью глаза. Но великан не исчез, он возвышался на прежнем месте и смотрел куда-то вперед, на далекую гривку леса, над которой медленно таял майский закат. Из дерева, понял я, по-дойдя к мужику поближе. Он стоял величаво-спокойный. Под босыми ступнями надпись: «Василий Лобанов».

На меня повеяло чем-то таинственным. Кто поставил его сюда? И зачем?

Я прошел по мосткам, сквозь которые проросла тра-ва, потом по крыльцу и прохладному коридору. Открыл обитую войлоком дверь. В комнате, куда я вошел, стоя-ли два стула, кровать, старинный конторский стол и как-тусы в маленьких кадцах. Все это напоминало одну из тех неприятных квартир, в которую начали въезжать, да так поселиться и не успели.

За столом сидела чистенькая старушка с беловоло-сой, как снег, головой, в полинялом с цветочками платье. Она что-то писала и, видимо, трудное, отчего на ее лице отражались мука и досада. Старушка со вздохом закры-ла тетрадь. Взгляд умный и недовольный, как у всех много думающих людей, которых не вовремя беспокоят. «Учительница, наверно», — почему-то подумал я и ска-зал:

— Здравствуйте! Вот шел мимо вашего дома...

Старушка решительно встала.

— Чей? По какому случаю? По лечебному? Ежели так, то сейчас покажу.— И она, шагнув к дверям, про-шла мимо меня на кухню.— Коза-то третью неделю до-ится голубым молоком. Взглянешь, чего хоть с ней.

— Позвольте... Но я в жизни не лечивал никого...

Старушка, кажется, рассердилась:

— Не умеешь лечить? Вот так здрасте! А кто ты тогда? От кого? По какому вопросу?

— Да вот шел мимо вашего дома...

— Слышала! Чего десять раз об одном?! Сам-от от-куда?

— Из Вологды...

— А работаем где?

Я сказал.

— Документик имеем?

Пришлось достать из кармана документ.

— Сразу бы с этого начинал,— сказала хозяйка.— Писать, значит, будем? Кто, интересно, тебя надоумил? Поди, в райисполкоме? Там помнят еще меня. Здесь не помнят, а там не забыли. Было времечко — уважали! На таком посту почти целую жизнь! Тут увертливую голову надо. Давай-ко, давай! Самоварчик сейчас поставим. Мою жизнь, коли с краю писать, и тетрадки не хватит. Для себя — так в блокнотике и отметь — почти не жила. Все для общества. Все для людей. Я кем была? Самой темной крестьянкой. Советская власть все дала: хорошую должность, культуру, образование. Председателем сельсовета как назначили в двадцать седьмом, так до пенсии на этом посту и состояла. И сейчас от общественных дел не прячусь. Ты заметил небось, как я в тетрадочке-то писала. Чего бы ты думал?

— Письмо дочери или сыну...

Старушка уселась напротив меня, посмотрела внимательно на свои бледно-розовые ладони.

— Нет у меня детей. И не было их... Частушки! Вот чего я писала!

Старушка приумилилась, должно быть, вспомнив о чем-то таком, что ей доставляло большую радость, и я разглядел, как сквозь дряблые морщины проступило на секунду красивое молодое лицо с неожиданно голубыми глазами.

— На это дело талант у меня. Сорок лет как пишу,— продолжала старушка, но уже с потухшим лицом.— В газетах, правда, не помещают. Но в клубе... Ни одного концерта без частушек-то не проходит. Сейчас посевная, и спрос на мои сочинения, знаешь!.. Есть тут у нас агитаторная бригада. Вот для нее припевки-то и подай. Вчера попросили — сегодня готовы.

У старушки губы не толще ниток, но она и такие сумела поджать.

— Не знаю,— сказала она, протягивая мне тетрадку,— насколько они пригожи. Но посмотри. Статью-то будешь писать, может, какую туда и всунешь...

Я растерялся:

— Статью... Но позвольте... Я, собственно, не за этим... Статьи писать я не буду.

— Зачем тогда все эти расспросы?

— Какие расспросы? Ведь я еще ничего не спросил. Вы так говорите...

— Как это я говорю? Как это?

— Да очень уж быстро. Ведь пришел-то я просто так. Увидел под крышей богатыря, и стало мне интересно.

Засмушалась хозяйка, стала какой-то настороженной, точно вспомнила то, чего вспоминать обычно остерегалась.

— Ну, об этом писать не надо.

— Да я не писать...

— Все равно. Дело это личное. Общественным тут не пахнет. Ведь Василий-то мужем доводится мне. Когда-то — мужем живым, а теперь — деревянным. С живым-то я с ним только годик жила, а с деревянным — почти полвека... А как он тебе? Показался?

— Высокий какой-то.

Хозяйка меж разговорами сходила на кухню и вернулась с пузатеньким чайником, на белом боку которого ярко алела гроздь костяники. Подошла к крайней кадце, стоявшей на табуретке. По зеленым зубцам цветка запрыгала бойкая струйка.

— Верно заметил, — сказала с улыбкой. — Такой он был и в жизни. Из сантиметрика в сантиметрик. Я в гробу рулеткой его вымеряла. Выше его не было никого. В избу, бывало, зайдет, того и гляди выставит потолочную доску. Характером смирный-смирный. Никому уж не досадит. Не скажет уж бранного слова. А столяр-от был какой! Тайну дерева понимал. Одному балкончик сошьет из тесовых цветов, другому округ окошек дощатых зверьков понасадит.

— И коней на охлупни мастерил?

— И коней!

— А скульптуру его кто создал?

— Я сделала.

— Вы?!

— Ну да! С топориком тоже имела дело. С таким мужем жить — обучишься хоть чему.

— Памятник, значит, соорудили...

Старушка понурилась, чайник в ее руке задрожал, и струйка воды потекла мимо кадцы на белый некрашенный пол. Мне показалось, что больше всего она боится быть откровенной: выскажется до конца — и станет ей так беспокойно, что хоть больше и не живи.

— Совесть заставила,— сказала она, покачав аккуратной чистенькой головой,— совесть. Виновата я перед ним. Кабы не тот мой погрёк, может, был бы он в здравии и теперь. Убили его. В двадцать восьмом это было. Из РИКа уполномоченный приехал. Надо было раскулачивать пять хозяйств. С кем раскулачивать? Сознательных о ту пору было у нас не лишка. Сидим в этом же доме, за этим же и столом. Водим пальцем по списку. И тут на свою нерадость явись с работы мой Вася. Уполномоченный ему: «Вот и помощник! Пойдем-ка, друг, оприходовать дворики у верхушки!» Мой Вася ни тпру, ни ну, стоит перед ним молчком, только шея краснеет. Тот глазами на меня: давай, мол, воздействуй на мужа. Я возьми и скажи: «Пойдем, Вася. Все равно кому-то ведь надо. Не тебе дак другому». Мой Вася еле губы разжал. «Нехорошо,— говорит,— после с людьми встречаться». Тут погрёк и выскочи у меня. Говорю: «Ладно, Вася, справимся без тебя. А если кто твою жену избидит, то не пеняй». Он и взопалился... Втроем пошли по дворам... Сделали дело за ночь. Уполномоченный наутро с подводами уехал, а Вася мой жил после этого ровнышком день. Вечером торкнулся кто-то в дверь. Жду-жду... Никого. Не стерпела. Дай погляжу. Дверину открыла. Господи! Лучше ослепнуть мне, чем увидеть такое! Вася-то мой лежит на крыльце. Спасался, да чутышку не успел. Вилы-то у порожка, видать, настигли. Вошли поперек спины, а вышли сквозь грудь и впились остриями в крылечко...

Я зажмурил глаза. Я вздрогнул. Прошрое этого дома метнулось навстречу мне, и я отчетливо разглядел огромного русского мужика, который, ступив на крыльцо, зашатался, скрипнул зубами и, пробитый сталью трехзубых вил, упал на порог родного дома. Он не хотел умирать. Но кто-то решил за него, что жить ему больше не надо. Кто это сделал?!

Глаза старушки смотрели куда-то вверх. Странно смотрели, словно видели там кого-то живого, с кем общалась она без слов. Я неуверенно обернулся. Над аккуратно заправленной койкой висел увеличенный фото-портрет молодого мужика с черными, как головешки, бровями. Глаза его были большие и грустные, и в их глубине стоял смущенный вопрос: «Я не мешаю вам? Я не лишний?»

— Кто убил-то его?— спросил я как можно тише.



Но спрашивал я напрасно. Хозяйка, должно быть, уже раскaiвалась, что была со мной откровенна. Взгляд ее маленьких глаз снова стал умным и недовольным.

— Об этом лишь знайка знает,— сказала она с усмешкой,— а знайка бегает по дорогам. Сколько дорог на Руси, столько их и у знайки. Может, убийца-то жив до сих пор. А кто он? Верхушечник ли какой? Сын ли его? Брат ли? Попробуй-ко розыщи. Да и кому от этого будет легче...

Мне показалось, что старушка ответила не мне, а чему-то тревожному, прежнему, что давно ее угнетало и не давало спокойно жить. Я сказал:

— Да, несчастливо у вас как-то вышло.

— Неправда! Уж кто-нибудь несчастливый, но только не я! всю жизнь за хорошее я стояла. И теперь за это стою. Как жить на себя, не знаю! Зато знаю, как жить на людей! Я на пенсии, а нет у меня ни одной свободной минутки. Сегодня частушку пишу. Завтра в школе на комсомольском собрании выступаю. Послезавтра как ветеран колхозного строя еду в город на совещанье...

Я понял свою ошибку. Встал. Посмотрел на единственный в комнате фотопортрет, на окно с выходом на проулок, на стоявшие перед ним зеленые кактусы в кадках, на сухую, с белой, как снег, головой хозяйку — и так неловко стало мне перед ней, что я поспешил поскорее уйти.

Вечер был теплый, задумчивый. Пахло молоденькой лебедой. Мне почудилось, будто кто-то меня окликнул. Я оглянулся. Босой двухметровый Василий стоял, подпирая большой головой тесовую крышу. Стоял и смотрел на далекую гривку леса, над которой то гас, то опять разгорался алый закат.

## ОВСЯНОЕ ЗЕРНЫШКО

Я шел к Верхне-Терменьгскому Погосту. Долго шел. И пора бы уже увидеть матерые пятистенки, окруженные снежным убором берез, но вдали по-прежнему смутно синел слегка закуржавленный ельник. Наконец за сугробистым взлобком показались пологие крыши, среди них — заносчиво поднятый к небу колодезный журавель.

Что же это такое? С досадой и удивлением я открыл

вдруг в знакомом селе неизвестную мне деревню. Избы были какие-то низкие. Провода шли всего лишь в две нитки. На заборах морозились половики. Значит, дорога была кривой и где-то меня обманула.

Я прислушался. Но вокруг была морозная белая тишина. Решил зайти в первый дом, чтоб узнать про нужную мне дорогу. Но к двери его был приставлен батог. И перед дверьми второго — батог, и третьего, и четвертого тоже, будто все батоги деревни сговорились между собой и решили меня не пускать в жилое. Неприютно мне стало. Но тут послышался шорох полозьев.

Вижу: дом нежилой с белым крутым крыльцом, и с крыльца не ступеньки сбегают вниз, а наезженная дорожка, по которой на саночках катится вниз весь укутанный в шаль румянёный человечек.

— Девочка! — окликаю его.

Человечек встал, уперев в меня пытливо-серьезные глазки.

— Я не девочка! — сказал с вызовом и обидой. — Я парень!

— Не озяб?

— Не бывало такого! Это мамка так окулемала. Не давался ей, да она вон какая силачка...

— Хорошо, хорошо. А деревня-то, знаешь, как называется?

— Ну, дянька, ты и смешной! Я ведь в школу хожу. Неужто я Пустошь свою не знаю! Да и ты, поди, знаешь. Как не знать-то ее. Вон какая большая. Сорок домов да еще и начальная школа.

— А люди где? Чего-то никак не могу разглядеть?

Улыбнулся мальчик губами, солидно так улыбнулся, словно прощая мою наивность.

— Да где быть-то им кроме работы?

— А школьники где?

— Воно, глянь! — махнул мальчик вязаной рукавицей в сторону белых кустов, на которых висели шарфы, полушалки и шапки. Тамо угор. Они на лыжах катаются. А у меня нету лыж...

Мальчик вдруг перестал улыбаться, сделался строгим, в голубых глазенках блеснул свет тревоги:

— Ты, дянька, откуда эдакой взялся?

Я объяснил. Мальчик, мало чего поняв, кивнул и спросил с нарастающим уважением:

— Дак ты голодный, поди?

— Нет, нет.

— Врешь. Вижу. Сам смеешься, а глаза невеселые. Пойдем-ко со мной. Я тебя накормлю.

Было что-то хозяйски твердое в этом решительном предложении, и я отказываться не стал.

Мы свернули с дороги и тропкой направились к дальней избе. Пока шли, мальчик спрашивал:

— Дяенька, в городах все дома каменные?

— Нет, не все. Деревянных тоже хватает.

— А деревянные где? По середине али по крайкам?

— В основном по крайкам.

— А в них кто? Бедняки живут?

— Ну что ты, Ванюша!

— Я не Ванюша!— сказал обиженно мальчик.— Ванька-та рыжий и в школу еще не ходит. А я Миколай.

— Извини меня, Николай. Но ты тоже хорош! Разве газет не читаешь? Не слушаешь радио? Нет у нас теперь бедняков.

— А где они есть-то?

Николай был любопытен и хотел за одну минуту узнать обо всем.

— Дяенька,— спрашивал он меня в двадцатый, наверное, раз,— а писатели люди смелые?

— Есть и смелые.

— А как их узнать?

— По книгам.

— По самым по интересным?

— По самым правдивым.

В избе, в которую мы вошли, предварительно оставив батог, было прибрано и уютно. На простенке меж окон — увеличенный фотопортрет какого-то парня, а под ним три ряда розовеющих грамот. «Нине Ивановне Одинцовой за трудовые успехи...» — начал было я читать, но Николай схватил меня за рукав.

— Это мамка моя, она у-у какая! Всех забила в работе. И меня все к ней понуждает. Ты, говорит, Колька, люби работу, а то в большие люди не выбьешься. А я выбиться-то хочу в комбайнеры. Как дядя Гриша! Знаешь, как здорово зернышки на поле убирать!

«Сам-то ты зернышко», — подумал я, глядя на Кольку, который разделся и стал растрепанным, желтоволосым, как облитый солнцем овсяный сноп.

— Значит, ты уже выбиваешься в люди?

— А как? Работаю!

— Мамке на ферме, поди, помогаешь?

Колькины руки полезли было с ухватом в печь, чтобы достать оттуда чугунок похлебки, но замерли вдруг, разжали ухват.

— Ну, дянька, скажешь! Девка я, что ли? Век свой туда не пойду! Для меня и парнячьей работы хватит!

— А что за работа?

— Да я, дянька, каждый день воду на чунках вожу и дрова еще к печкам таскаю. Норовлю на два дома — на свой и на бабки Матрены. Бабка-то обезножела в том году, а родни у нее никого. Вот я вместе с парнями и пособляю.

Я глядел на стоявшего возле печи овсяноволосяго Кольку и как бы видел в нем того умудренного опытом жизни бывалого мужика, каким он, должно быть, и станет с годами.

На столе дымилась похлебка. Мы обедали с Колькой.

Отобедав, я встал и всмотрелся в портрет, по бокам которого рдели бумажные розы. На меня глядел светлоусый парень, глаза которого как спрашивали: «Этоты? — и тут же с готовностью отвечали: — Ну, конечно! А кто еще больше?!» Портрет был настолько живой, что казалось, парень вот-вот раздвинет руками рамку, выйдет оттуда, сядет за стол и, погладив усы, поведет задушевный разговор.

— Это кто? Папка твой?

— Может, и папка,— сказал неуверенно Коля.

— Он тоже сейчас на работе?

— Не знаю. Не с нами живет. Он в город удрал. Там новая у него семья. Мы ему ни к чему. Раз к нам приезжал. Мамке платок привез, а мне — деревянную лошадь. Только мы ничего не взяли.

Я стоял у края стола и глядел на Кольку.

— Чего, дянька, нос-от повесил?— услышал я его голос.— Давай-ко я тебе поиграю.

На минутку Колька исчез в другой половине избы, принес оттуда потертую хромку, неумело затренькал и вдруг запел:

Кто-то ходит, кто-то бродит  
За рекой у мосту.  
Кто-то уточку стреляет  
Небольшого росту...

Я слушал его игру и удаленькие припевки, каким, должно быть, он научился у взрослых девок или парней. Из углов избы начинали уже выползать сумеречные тени. Под печкой, вскакивая на шесты, забили крыльями куры. Колька неожиданно встрепенулся, поглядел на стенные часы:

— Пойду воду возить, а то ребята уже собрались. А ты, дяденька, отдыхай. Ночевать-то всяко будешь у нас?

Отказался я от ночлега.

— Ну, тогда я тебя провожу. Наставлю на путь. А то опять уйдешь по другой дороге.

Вечер плыл по земле — просторный и синий, пахнувший сеном и мерзлыми половиками. От колодца с поднятым журавлем раздался зовущий крик:

— Микол? К бабке Матрене пойдешь?

— Пойду! — отозвался мой маленький спутник.

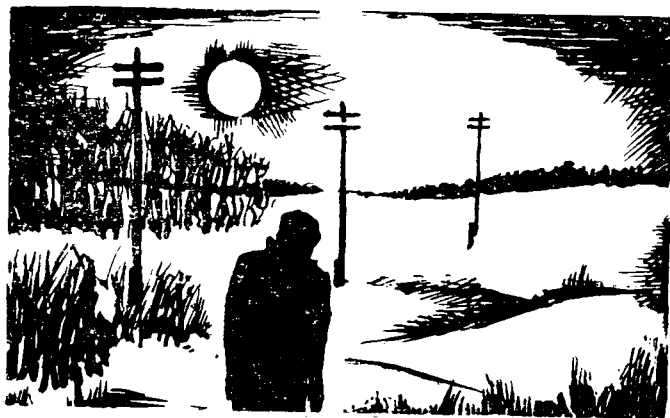
За деревней возле заснеженных прясел Колька важно спросил:

— Ты, дяденька, когда теперь к нам придешь?

Я пожал руку в вязаной рукавичке.

— Наверно, скоро, — пообещал и улыбнулся парнишке, как нечаянному другу.

Дорога стелилась по полю, сжатая глыбами мятого снега. По сугробам торчали головки репея. Ветер гнул их к земле, а они не сгибались. Сзади послышались голоса. Я обернулся. От колодца с березовым журавлем, облепив санки с баком воды, торопливо шла стайка парнишек. Среди них был и Колька.



# ПОВЕСТИ

## ТРЕТЬЕ ДИВО

К Рухловым зашла почтальонка Наташа, порылась в сумке озябшими пальцами, вынула бланк:

— Вот, тетка Анна. Вчера хотела отдать, да как-то вылетело из головы.

Телеграмма была от дочери. «Завтра субботу Климентия день рождения ждем».

Анна, глядя пальцами бланк, на котором, как ни старалась, ничего больше прочесть не могла, заходила по кухне, заулыбалась. Но вспомнила вдруг с запоздалой досадой, что надо ехать сейчас за сеном, значит, у доченьки не бывать.

— Вчера-то чего не могла принести?

Наташа поправила верх платка, убрав под него желтую прядку.

— Позабыла, тетка Анна. Что хочешь делай.

Сказала Наташа скорей виновато, но Анна, охваченная обидой, услышала в девичьем голосе скрытый вызов. Сбив половик, пронеслась в горницу-боковушку, прошумела там — и назад. Следом вышел заспанный Дмитрий. Сел на лавку, зевнул и услышал, как баба его обрушилась на почтальонку.

— Ну, Натаха! Ну, девка! Из-за тебя теперь в городе не бывать! Кто отпустит? Бригадир еще с вечера приказал сено с Пустоши доставить. Попробуй теперь с ним сговоришься! Не каменной человек, а поди...

— Да ладно тебе, тетка Анна! — снисходительно улыбнулась Наташа. — Не съездила в этот раз — в другой угадаешь! Я ведь думала...

— Надо думать-то не вчерашним днем! Куда теперь

с твоей грамоткой? На вот ее, забери!— и Анна бросила телеграмму.

Наташа слегка побледнела, хотела было уйти, как вдруг надумала зло и больно обидеть Анну. Однако — какими словами? Не было слов у нее таких. Наташа поправила сумку, отстегнула зачем-то пряжку и рассеянно, словно ища поддержки, посмотрела на алый от грамот простенок, на заборку в фуфайках и зевавшего возле горшка с геранью большелобого мужа Анны.

Дмитрий, заметив ее поглядку, промолвил с ленцой: — Брось, старуха, ругаться. Ни к чему...

Сказал бы он это с сердцем, и Анна, ни секунды не медля, перекинула бы гнев на него, но слова его прозвучали вяло и равнодушно.

— Как это ни к чему?— в голосе Анны слышалось примирение.— Неуж тебе дочерь неохота наведать?

— И наведем. Чего тут такого? Вот пойду сейчас к Олександуну — и дело в шляпе. Уж кого-нибудь не отпустит, но не меня.

Анна стелющимся шажком подошла к почтальонке. На лицо ее легла тень совестливого покаяния: накричала на девушку, а зачем?

— Ума-то у меня тоже — ой! Не густо насыпано! Ты уж, Наташа, не обессудь...

— Нет, тетка Анна... Нет, я ничего...

— Ну, а раз ничего,— повеселела немного Анна,— так на вот тебе!— И она подошла к шкафу, достала оттуда яблоко.— Кушай, андели!— И, подав его девушке, улыбнулась, как улыбается ласковая хозяйка, когда провожает приятных гостей.— Дай бог тебе жениха пригожего. Голова чтоб с поклоном, каблук с подворотом.

— Ой! — засмеялась Наташа.— На что мне-ка его? Ой, тетка Анна! Глупости-то какие!

Едва Наташа захлопнула за собой тяжелую дверь, Дмитрий глянул на Анну.

— Даром что ростиком долговата, а ить золото девка. Сколько ей уже? Двадцать четыре, поди, годка. Эдак примерно. А женишка подходявого все нет и нет. Да и где их найдешь? Пустовата деревня этим товаром.

Дмитрий сидел, уронив меж колен узловатые руки. Он, как и всякий благожелательный человек, любящий подумать над тем, чего не было, но что когда-нибудь будет, размышлял теперь о себе и о тех, кто жил с ним рядом. Ему всегда становилось стыдно своей в общем-



то справной жизни, если он замечал, что другие живут чем-то хуже.

Анна сбегала за дровами, принесла беремья, бросила к печке. Дмитрий, вдыхая запах холодных поленьев, облек свою мысль в слова:

— А ить хочет замуж-то. Больно хочет. Да и котора девка не хочет? Да, пряточки, неважнецка для вас перспектива. А ить славницы-то какие! Кровь с молоком. Бери любую да сади на парадное крыльцо в город. Там парней-то, что листьев в лесе. Живо бы разобрали.

— Вот и сvez бы ты их туда,— заметила Анна.

— А не худо бы. Не худо бы эдаких кудреватых.

— Дак чего? Соберись! — ласково подсказала Анна и, взглянув на лоб мужа, уходивший к затылку, где торчал одинокий кустик волос, улыбнулась.—Може, и у тебя вырастут после етого.

— Чего вырастут?

— Да волноватые-то кудерьки!

Дмитрий встал, потягиваясь, подошел к дощатой заборке, на которой висели фуфайки. Сняв, которая хуже, услышал:

— Ты чего ето? Не ворон ить пугать.

— А как знать,— улыбнулся Дмитрий.

С крыльца открывалась деревня. Вправо — покрытые снегом поля, перелески и пустыри. Влево — два ряда низких изб. Вдоль заснеженных крыш суетливо скакали дымы. Дул промозглый и острый ветер. Дмитрий шел, приставляя к лицу суконную рукавицу. Гулко скрипнула дверь. Потом и вторая, и третья. Послышался длинный и звонкий хруст, чей-то настойчивый голос.

— Ива-а-ан! Обед-от с собой будем брать?

— Ну его к лешим! Всяко к двум-то часам вернемся.

— А ежели не?

— Не да ме! Чего ты ко мне прилепилсе? Не вернемся, дак так нам и надо. Усёк?

— Усек! — успокоился голос.

Лаяла где-то собачка. Откуда-то из-под крыши градом посыпалась стайка птиц. «Воробышки!» — улыбнулся Рухлов. На востоке медленно тлело — казалось, кто-то большой и озябший раздувал потухавший костер. Кричала сорока. В одном из подворий хрипло спорили мужики. Заваленное снегами утро входило в деревню неуверенно и стыдливо.

Из-за сельповского склада вынырнул бригадир. Был Романовский высок и тонок, в рыжем с кудрявым воротником полушубке, пушистой огромной шапке и меховых рукавицах. «Ну и ладно, — сказал себе Дмитрий, — не надо хоть в избу к нему заходить».

Бригадир Александр Романовский слушал Дмитрия с нетерпением, так как было ему досадно, что его сейчас отвлекают.

— Много вас тут желающих кататься по городам. А кто работу будет вести? Я, что ли, один?

В подмороженном голосе бригадира Дмитрий учуял пренебрежение. Так разговаривают, когда желают от тебя поскорей отвязаться. Под подошвами валенок уркнул снег. Дмитрий преданно улыбнулся.

— На тебя одного и надежа.

— Отчего к председателю не пошел?— спросил Александр.

«Из-за эдакой пустяковины?» — хотел было ответить Рухлов, но сказал другое:

— А ты чем хуже его?

Александр улыбнулся, и лицо его стало другим, незнакомым, будто вышел из-за его спины белозубый веселый мужик и, заняв бригадирово место, с удовольствием согласился: конечно, он не хуже.

— Значит, хочешь в город податься? К зятю, стало быть, на рожденный день?..

— К зятю, Олексан Дормидоныч. К нему да и к доче, примерно. Зовут, дак ить как?

Бригадир снял рукавицы, засунул руки в карманы, пропихнул их, подымая полы рыжего полушубка.

— Отпустить тебя, что ли? Хотя в общем-то и нельзя. Сам понимаешь, с Леденгской Пустоши только теперь по займку сено-то и возьмешь. Направить бы трактор туда, да болото не пустит. Так-то, Дмитрий. Конями, только конями его и возить.

— Дело бывалое,— согласился покладисто Дмитрий,— завтра, буде, и съездим. Анну с собой прихвачу. Баба матерая. Разов пять обернемся, все большое и увезем. Подводить тебя нет расчёту.

Бригадир потер ладонь о ладонь. Потер не просто так — с утайливым смыслом.

— Ишь, ты, — сказал, — меня не хочешь, говоришь, подводить. А кого тогда хочешь? — Александр помолчал, словно оценивая обстановку, от которой зависит быть

ему откровенным или не быть. Решив, видимо, быть, добавил: — Председателя, может, а-а?

Дмитрий быстро взглянул на багровое от мороза лицо бригадира, по которому шла и вдруг замерла баловливо-сдержанная улыбка. «Что он, с ребячьим умом, глупости-то такие спрашивает!»— удивился Рухлов, а вслух сказал:

— И Степана бы Никанорыча не подвел. Он печется о нас, как о маленьких пареньках. Надо сердце иметь с горошину, чтоб его подводить.

Бригадир достал из-под мышки свои рукавицы, надел их и, поглядев на Дмитрия с неприязнью, решенно сказал:

— Отпущу я тебя, Митя, в город. Слову своему я хозяин. Только сперва достань с Пустоши сено...

Баловал зимарь, бросая в окна снежные клочья. С востока, где смирно качался на елках малиновый горизонт, надувало запахом сена. Где-то хлопнули друг о друга хромовые перчатки. Затем проскрипели шаги. Из-за ближней поленницы дров, пуская ртом белые парашюты, вышла с сумкой через плечо, в валенках и платке, завязанном на подбородке, длинноногая почтальонка. Застучало сердце у Александра.

— Здравствуйте, Наташа!— сказал голосом, каким никогда, казалось, не говорил.

Покраснела Наташа, вздохнула: «Здрасте!»— и пошла, ослепив бригадира стыдящимся взглядом. Этим взглядом сказано было, что любит она Александра, и поэтому лучше бы он на ее пути никогда не встречался, потому что ей надо его забыть, а как это сделать, она не знает.

Александр брел устало и тихо, как человек, которого мучает память. Он помнил ее пугливые губы, от которых пахло лесной полянкой. И волосы ее помнил, непокорные, желтые, спадавшие все время на глаза. В волосах этих он прятал свое лицо, и было в такие минуты так хорошо ему, что он забывал обо всем.

Александр вздохнул, набирая в грудь запах носимого ветром дыма. «На городскую позарился. Ну да я! Думал, девка красивая да из города, дак взглянуть на меня, на деревню, будет ей низко. Оказалось— не так. Ушлая девушка. Даром что на шесть годов меня стар-

ше, а на третьей неделе знакомства подсказала дорожку в загс. А что получилось? Имал ласточку, поймал ворону...»

В окнах изб от топившихся печек колебались алые вспышки. Романовский свернул к высокой избе, в которой жил Ваня Солопов, работник первой руки, но на смешник и забияка.

На крыльцо опустился танцующий снежный столб. В столб ударилась дверь. В подпоясанной флотским ремнем фуфайке вышел Ваня Солопов.

— Ты, Иван? — спросил Романовский.

— Я как будто.

— Трактор завел?

— Да почти что. Вот только дойти до него осталось.

Бригадир доволен ответом, но все же с пригрозкой предупредил:

— Ну, ну, смотри у меня...

Было восемь утра. Александр продолжал подворный обход — из избы к избе, по всем четырем посадам. Нравилось Александру прямо на месте решать, кого послать на какую работу.

Семену Захарову, рябому смирному мужику, за всю жизнь не сказавшему никому поперечного слова, велел:

— Поезжай с Иваном по бревна! Он уже трактор завел.

Соседа Семена, пожилого ленивого Броню с куриным пером в длинных заспанных волосах, сурово спросил:

— Завтракал?

Броня только что встал.

— Не успел...

— Тогда ладно. Можешь не торопиться.

Броня развел руками.

— Экий прах... Что за честь мне такая? Неуж по бревна я не ездок?

— Угадал. Ты сегодня ездок по навоз. Любишь с навозом-то ездить?

Броня растерянно заморгал.

— Олексан Дормидонтыч. Экий прах... Да лучше уж я по бревна.

— Завтракал? — снова спросил Александр.

— Не...

— Вот и весь разговор. Натощак с бревнами я еще никому не велел работать.

Умел Александр управлять бригадой. Уговаривать прийти на ту или иную работу никого уж не надо. А ведь, бывало, каждый в деревне мужик и даже каждая баба обходили его вниманием, словно не он стоял перед ними, не он и задание назначал, а кто-то невидимый, воздушный, кого можно пройти насквозь. А уж так он хотел, так хотел, чтобы люди были ему послушны. Просил, уговаривал, улещал:

— Надо бы двор отремонтировать...

— Не могли бы съездить по семенам...

— Вот сделали бы траншею под силос...

Соглашались колхозники и с тем, и с другим, и с третьим. Отправлялись и двор ремонтировать, и возить семена, и ладить силосную траншею. Но всегда соглашались с условием. Одному, чтобы было не тяжело, второму — выгодно и нетрудно... Заветной мечтой Александра была мысль об отъезде из дома. Хоть куда, лишь бы не видеть своих подчиненных. Но уехать было нельзя: держали старая мать, жена. Да потом — кто его из колхоза отпустит? Смирившись, что придется пожить в деревне, Александр стал немного спокойней. Позднее явилась цель: надо что-то сделать с собой. Чтобы шел с поклоном к народу кто другой, но не он. Утешала еще надежда: если он наведет в бригаде порядок — с дисциплиной, надоями, урожаем — значит, будет замечен в верхах. Дал понять об этом ему сам Иван Николаевич.

Разговор состоялся четыре года назад, когда, закончив партийную школу, Александр зашел в управление сельского хозяйства. Зашел уверенный в том, что ему предложат занять должность ответственную и солидную. Но Иван Николаевич Полозов внятно сказал:

— Поедешь в Данилов Починок. До учебы ты был рядовым колхозником, а теперь — бригадиром.

Александр стало холодно у покрытого алым сукном стола, за которым сидел с поощряюще бодрой улыбкой тот, в кого он так преданно верил.

— Бригадиром? — переспросил.

— Да, бригадиром.

Александр хотел возмутиться и воздуху было набрал, но Полозов мягким кивком головы пресек:

— Так, Александр Дормидонтович, надо. Надо сперва к тебе приглядеться. Как дела пойдут под твоим началом? Хорошо пойдут, значит, быть тебе кем и повыше.

Обещание и дружескую поддержку уловил Александр

в этих словах. Но ему показалось этого мало. Захотелось речательства в том, что его бригадирство будет недолгим. Попытался об этом сказать:

— Я, Иван Николаевич...

Но Иван Николаевич снова не дал продолжить.

— Знаю,— сказал вразумительно и любезно,— вот покажешь себя деловым бригадиром, тут мы тебя и поставим на то самое дело, которому ты соответствуешь...

От города до деревни Данилов Починок семнадцать верст. Александр в тот же вечер приехал домой. Не один приехал — с женой. Полагал, что и мать, и знакомые, и вообще вся деревня будут рады его молодке, потому что она из города, закончила институт, красива лицом и станет заведовать местной школой. Но, к его удивлению, встретили их обоих с подозрительно-зоркой поглядкой, точно были они опасны и могли обидеть других.

Понял тогда Александр: неприязнь у сельчан идет от измены его Наташе. Все в деревне полагали, что лучше жены, чем Наташа, Александру и не сыскать. И вот вместо Наташи — Нина, городская его жена, с которой уже через месяц он стал раздражительным и однажды, вздыхая, сказал:

— Да-а, случилась, кажется, незаладка...

Незаладка случилась и на работе. Председатель колхоза Степан Никанорович Бабкин, человек снисходительный, мягкий, смотревший вначале сквозь пальцы на неумелое руководство бригадой, в конце концов не стерпел. Разговор проходил в его кабинете. Покручивая головой, будто намереваясь вылезти из рубахи, Бабкин строго спросил:

— Ты, Александр Дормидонтович, это, что? Ты, это, всю бригаду поразнудал! Пьянки всякие. Вольности! Ты болеешь растерянностью. Никто, это, не слушает тебя.

Александр, лелея тайную мысль, сказал:

— А вы меня рассчитайте...

Степан Никанорович усмехнулся:

— Вот какая у вас надея! Вот чего добиваетесь? Знайте, уволить я, это, вас не уволю, а с бригадиров сыму. Да еще в управление брякну. Вынужден, это...

Было в те дни в голосе Александра, в жестах, походке и особенно взгляде что-то отчаянно-отрешенное, побуждавшее смотреть на него с любопытством и удивлением. В те дни он впервые поднял голос до крика. В те

дни он готов был на самый решительный спор. В те дни он почувствовал в людях уступчивость и покорность. И не было больше уже сомнений, что он подымет бригаду в гору. На высокую гору, которую видно было бы всем.

Александр ступал по мыскам наметенного снега. За крайней избой, перед тем как пойти по тропе, взглянул на дорогу. Дорога, играя поземкой, бежала в поля, за которыми смутно синел дальний ельник. За ельником — снова поля, затем перелесок, карьер, большое село, а там и рукой подать до районного центра. «Дорога, дорога,— подумал невесело бригадир,—приведешь ли меня туда...»

Ветер стих, и теперь было слышно, как потрескивал в сгибах локтей прохудившийся полушубок. Александр размышлял: «Давно ли был пацаном? Давно ли мечтал о будущих днях? И вот эти дни. Настиг и живу в них. И даже нажился. Пробираюсь в новые дни. А когда и эти дни догоню, то стану спешить еще дальше. И так без конца буду и буду себе торопиться. А надо ли? Надо ли торопиться? Не такой уж долгий отпущен нам век».

Александр шел и шурко смотрел вперед. Опускавшиеся с небес прозрачные свай света, сеновал на пологом холме, елка с шишками, потонувшие в переметах прясла — все здесь жило своей постоянной жизнью. И эта тихая постоянность его волновала.

Бригадир подходил к деревенскому кладбищу, где вдоль ярко-зеленой ограды стояли березы. Были они так стары, так печальны, что хотелось их пожалеть. Александр проник вопросительным взглядом между крестами. Сколько тут похоронено всяких людей! А кто о них чего знает? Кто расскажет о том, какая рука вела их по дорогам к кладбищенскому покою? Романовский поднял лицо, увидел обвисшие ветви, и ему стало как-то не по себе. Представил на миг, что это не ветви, а чьи-то усталые думы — полузабытые, тихие, призасыпанные снежком. Висят и висят — как бессмертные...

Александр оглянулся и заспешил.

В проеме ворот недавно построенной фермы мелькнула собачка. Тявкнула в сторону бригадира, но, узнав его, виновато и преданно заскулила. Романовский прошел по холодной застройке. В аппаратной сквозь слабо прикры-

тую дверь слышался бабий разговор. Бригадир невольно остановился.

— Под таким заслоном, как наш Олексан, жить дивья. Он и на том-то свете знает, что диется.

— Сбежит он от нас. Али не видать? Росшарашился весь. Одной ногой в деревне, другой — в городе.

— А что, девки, таких не скоро и упасешь.

— Своя голова на плечах.

— Уедет, дак заработки как — падут?

— Али денежек нет?

— Есть-то есть, да куда вот их класть. В карман? Да опять же с дырой...

Александр улыбнулся, смекнув, что ему так и не дослушать разговора. Ватный подбой дверей прополз по тесовому полу, Александр вошел. Доярки мыли доильные аппараты, переставляли фляги в угол, а кто и без дела сидел. Среди них находилась почему-то Мария, которой надо бы быть у себя на дворе и поить там телят. Обратно. «Эта везде успеет», — отметил он и сказал преувеличенно бодро:

— Ну и как настроенье?

— Самое подходящее! — откликнулись бабы да так охотно и дружно, словно готовились к такому ответу.

— А Мария чего? Опять отвлекает последними новостями?

За Марию вступилось несколько баб.

— Не отвлекает, коров-то мы обрядили. Домой собрались.

— А новости как не послушать? На то мы и женщины, чтоб ушки на них наставлять.

— Ну, ежели женщины, — согласился нехотя Александр, — тогда валяй, веселитесь.

— Я тоже мекаю эдак! — заулыбалась Мария. — Веселый человек — душе спасенье, дому благословенье, а людям, стало быть, утешенье...

— Та-ак! — оборвал ее бригадир. — Все поняли. Можно не продолжать. — И посмотрел на доярок с заботой. — Как с сеном? Надолго хватит?

— Дня на два, поди.

— И не дольше?

— Не дольше.

— А потом останемся без кормов?

Рассмеялись доярки.

— С тобой не останемся!



— Отчего ж так? А вдруг?

— Не-е! Тебе, Олексан, только скомандовать...

Александр засунул руки в карманы.

— Ладно,— сказал,— будет моя команда. А после команды будет и сено. И не когда-нибудь, а сегодня! — Его длинноносое молодое лицо стало мечтательно-твердым, словно он представил себя в тех желанных будущих днях, которых всегда ждал и к которым так торопился.

Возвратился Дмитрий домой с растерянно-виноватым видом, будто его только что обобрали.

— Не пускает?— встретила Анна.

— За сеном ехать велит.

Анна коротко махнула рукой, показывая этим, что другого от Александра нечего было и ждать.

— Не с того боку, поди, подступил?

— Кто знает...

— Да как это кто? Ты!

— С какой это стати?

— С такой, что нечего было бахвалиться! Пошел-то, что говорил? «Уж кого-нибудь не отпустит, но не меня!» — при этих словах Анна так посмотрела на мужа, что Дмитрий устало вздохнул.— Не едак просятся-то у добрых людей! — привередливо продолжала она.— Не спряма. Ноне спряма-то что? С крыши на борону, так и голову сломишь. Руководство себе на уме. Хочешь чего добиться — ходи хитр-хитряком.

— Тебя бы на Олексана-то напустить. С тобой хоть кому говорить, дак с душой собирайся.

— А ты как думал,— сказала Анна, маленько гордись.— не пустоволоска перед тобой!

Дмитрий был согласен и с этим. Он забрался за стол и, широко растопырив под блюдечком пальцы, начал пить чай. Анна тоже пила, приговаривая:

— Налегай, Митрей! Попьешь да поеси, нос-от на работе и не трясется!

Дмитрий слушал жену. В голове плыли думы о замужней дочке Галине, жившей, кажется, без забот, о грамотном зяте, который, верно, обидится, если в гости к нему не прибыть; наконец о вывозке сена. Дмитрий был человеком совести и порядка. Если кто-то надеялся на него, обращаясь с просьбой, то он подводить не умел.

Сегодня трое его просили: дочка с зятем — с одной стороны, бригадир Романовский — с другой. Дмитрий сидел, испытывая неловкость, словно кто-то унылый и властный стоял за его спиной, заставляя его быть безропотным и покорным. Тридцать лет проработал Дмитрий в колхозе. Он устал от бесчисленных указаний, рьяной будничной суеты, от железного слова «надо», отдававшего всякий раз принуждением и тревогой. «А ежели я Олексану не покорюсь? — думал рассеянно Дмитрий. — Возьму да махну сейчас в город. Радуйся, дочь!»

Дмитрий встал, посмотрел на Анну из-под бровей, нависших черными ночными кустами.

— Поедем, что ли, — сказал, сам не зная еще куда: то ли в город, то ли на Пустошь.

— Поедем, — вздохнула Анна, и грустный вздох жены решил выбор Дмитрия в бригадирову пользу.

Двойственность, когда надо бы делать и то, и другое, а разорваться надвое нельзя, всегда угнетала Дмитрия. В такие минуты он был горазд и ворчать, и устало морщинить лоб, и думать, что кто-то его намеренно обижает. И вот двойственности не стало. Дмитрий, румяный от теплой картошки и трех чашек чая, достал с печного карниза пачку «Примы» и закурил. И вновь в голове его всплыли мысли. «Мужик я зависимый, — думал он, — зависимый от кого? От бригадира, примерно. От тех, кто сидит в конторе. Таков уж порядок жизни, а от порядка никуда не денешься. И прав Олексан, что понуждает меня заданьем. Э-э, да что это я? Заданье! При чем тут оно? Дело-то ить в другом. Я до жизни, пожалуй, лишку жаден, вот отчего разнобой. Обо всем охота узнать, все увидеть. А отчего такое бывает? Оттого, примерно, что мне повезло. Не скотиной, не зверем, не мухой — человеком произошел! И женился, кажись, удачно. Эх, бабенка-то у меня! — Дмитрий взглянул на Анну, которая, навалившись грудью на печь, искала там целые рукавицы. — Атаман! Тридцать лет вместе. Скоса не взглядывали. Кому еще так удавалось? Да вот. Больно добро. Жизнь идет как по маслу. А вроде бы будет и перемена: чует сердце. Только какая? Заглянуть бы умом вперед...»

Но заглянуть ему не пришлось. Анна, найдя на печке ватные рукавицы, стала его торопить:

— Чего расселся-то? Е-е, спишь, что ли? Пошли, буде. Пошли, пока Сано не разъярился!

Закрыв дверь на батог, Рухловы спустились с крыльца, оба в серых с галошами валенках, ватных штанах и фуфайках. Дмитрий шел по рыжевшей от солнца дороге, опережая Анну на шаг. Чувствовал он себя таким сильным и молодым, что хотелось немедля кому-нибудь пособить.

— Хорошо!— сказал, улыбаясь.

— Чего уж хорошего?— откликнулась Анна.— К дочери ну-ко не съездим. По-велёному да по-спрошёному что за житье?

— Пускай по-велену. Зато бояться некого! И вины держать не надо ни перед кем! Это ить не каждому так удается. А, старуха? Кому мы чего должны?..

От деревни до Пустоши два километра по торной дороге, да два — вцелое, снегом. Звенел под полозьями снег. Лошади шли бодрой рысью. Солнце висело низко. Его рассеянные лучи, сплыв с еловых вершин, мягко стелились к дороге. Блестели темным пером вороны. Они скакали меж конских груд, поджав озябшие ноги. Топот копыт их вспугнул — молча, с сиротской угрюмостью поднялись к еловым ветвям.

Дмитрий сидел в передке саней, то и дело потряхивая плечами. Было очень морозно. Чтобы согреться, он прыгивал, отставал и, нукнув на лошадь, бежал междуконной полоской.

Анна, ехавшая за ним, закуталась в полушалок. Она слышала, как к ресницам ее подбирается чуткий дорожный сон, колыбельной легонькой песней уносивший ее в далекое детство. Близко-близко, у самых глаз, почти путаясь в длинных ресницах, проплывали ватага ребят, маховые качели, гармошка и вдруг белый, с крутой, как угор, шей конь.

Конь заржал. Приоткрыла Анна глаза. И так странно: конь далекий, из нежного детства, и теперешний, настоящий, оба были как бы в одном и бежали по мягкому снегу.

Тишина и ясность кругом. Закуржавленные деревья. А вон и просека по болоту. Дальше распадок берез. А за распадком и Пустошь.

Дмитрий с опытностью, с какой исполняют знакомое дело, подвел лошадь к крайнему стогу. Сверкнули острия вил. Три-четыре царапки — и снег, сердито кипя, пополз

и рухнул к подножию стога. Запахло широким июльским лугом. Дмитрий скинул фуфайку, показал Анне жестом, чтоб была на приеме и не зевала. В похватке, какой забирал он сено, в том, как нес его, изгибая держак, как на сани клал, норовя навить ровным слоем, ощущались сноровка и страсть мужика, привыкшего всякое дело справлять торопливо и жадно, точно боясь, что работы ему не хватит. Шапка Дмитрия напозла на затылок. На висках — узлы голубеющих жил. Лицо красное. Ну чего бы так буйно стараться? И полегче бы мог. Так нет. Дмитрий будто приказ выполняет: побыстрее, похоловей, покруче!

Анне видится в своем мужике что-то властное и большое. Он сейчас как бы вправе и накричать на нее. И она ничем не ответит, не обидится даже. Таково его преимущество как верховода, который в пору крутого задора волен всех себе подчинить, приказывать делать то, что считает наперво важным.

Передышку Дмитрий устроил лишь после того, как весь стог был навит на те и другие сани. Он курил с наслаждением, слыша треск сигаретки и ревниво следя, как зрачок огонька приближается к пальцам.

Дмитрий взглянул на часы:

— Эво! Десять уже! Дай бог ноги! Но, христовые! — крикнул на лошадей.

Лошади трудно, как сквозь воду, заподымали ноги в снегу. Встрепенулись везы.

На вершине угора лошади встали. С дрожащих шелковых губ упала на снег горячая пена. Анна и Дмитрий вскарабкались на везы. В макушках деревьев с ветки на ветку широко пронесся настуженный гул. Дорога стелилась половиком. Она задыхалась от нависших над ней хвойных лап. Послышался шум. Всё громче и громче. Трактор. А в нем, разумеется, Ваня Солопов.

Солопов — мужик неожиданный, хитрый, его никто никогда не поймет, где он серьезен, а где баловлив. При встрече с ним надо быть готовым ко всякому обороту.

Дмитрий сейчас ни к чему не был готов. Он сидел, крутоплечий, широкий, спустив с везы ноги в загнутых валенках, на которых сверкали галоши, и беспечно смотрел вперед. В середине кабины он видел скуластую, крупную голову в косо надетой шапке. Трактор ближе и

ближе. Скрипнула дверца, и Солопов, высунувшись по пояс, голосом быстрым, каким ругают нерасторопных, закричал:

— Пропадите вы пропадом! Али мне дорогу вам уступать?

Дмитрий вынужден был покориться. Навел лошадь на комья и кустики вдоль дороги. Заехав на них, наблюдал за Анной: как-то справится? Ничего. Заехала вроде неплохо, только лошадь застряла в кустах.

Солопов вел трактор тихо и осторожно, боясь до поры напугать лошадей. Рухловы повеселели: «Ай да Ваня! Ай да молодчик! Так бы всегда!» — говорили их взгляды. Глаз у молодчика заиграл, засветился проказливым блеском. Трактор вдруг угрожающе заревел, лошадь у Дмитрия — на дыбы. Он намертво в вожжи вцепился.

— Стой! Стой!

Анна тоже вцепилась в вожжи. Они забились в ее рукавицах, словно длинные змеи. Ускользнули куда-то вперед. Анна вдруг ощутила спиной и плечами, как ее кидает назад.

— Со-то-на-а! — закричала, падая с воза. — Будь ты проклят! Лешой тебя понеси! — продолжала ругаться, но уже из сумета, схоронившего ее с головой. А для грузчиков на санях — забава: захохотали так, как, наверно, ни разу в жизни не смеялись.

Дмитрий бросился к Анне, с обидой ворча: «Умей шутить, умей и перестать. Ить не каждая забаушка смешком, иная слезой...», но увидел, что жена жива-здоровая и даже топает ногой.

— Чего топаешь?

— А надо! Ишь, бессовестны рожи! Что я, куколка им с возу-то падать?

— Эдак, примерно, — промолвил Дмитрий и оглядел накренившийся над дорогой воз. Если сбоку его не подержать, обязательно упадет. С тоской в глазах Дмитрий окинул взглядом дорогу, словно ища на ней мужика, который мог бы подсобить, встав рядом с ним под нависшее сено. «У одного силешки не хватит!» — подумал он с сожалением.

Нагнувшись, Рухлов увидел, что сани наехали на пень. «Вот отчего». Он встал, упираясь руками в веревки, и на лице его, вдруг напрягшемся, в серых кривых морщинах обозначилось злое упрямство. И когда жена

подошла и тоже уперлась руками в сено, он хмуро сказал:

— Поди отселя, поди. Возьми лучше вожжи.

Едва лошадь пошла — воз колыхнулся, и громадная тяжесть подмяла Дмитрия под себя. У него треснуло что-то в спине. Закачавшись, он как-то боком, по ходу саней сделал два страшных шага, но колени размякли, и Дмитрий плашмя ударился о дорогу. Проклиная свою неловкость, проморгался, поднял лицо и, увидев удачно сошедший воз, улыбнулся. Улыбка погасла, едва он попробовал встать. Вдоль спины прокатилась горячая боль. Из-за воза мелькнула Анна.

— Андели! Не зашибся?

— Пустое,— сказал неуверенно Дмитрий,— с тула, кажись, сорвал.

— А я уж думала, спину тебе сломало.

Оглянувшись по сторонам — не видит ли кто — Дмитрий скинул фуфайку, постелил ее на дорогу и, припав к ней животом, спросил:

— Давай, сошшипни. Болеть когда нам теперь?

Загнув на белой спине мужика пиджак, рубаху и майку, Анна стала щипать. Занятие было привычно простое. Сколько раз доводилось между делами заниматься таким лечением! Пальцы бегали вдоль спины. До тех пор они гладили и щипали, пока кожа не покраснела и Дмитрий, теряя терпение, не подал кашлем сигнал, намекавший, что лечиться ему уже не под силу. Анна шлепнула по спине:

— Хватит. Не барин валяться-то! Здоров будешь!

Дмитрий снова сидел на возу. Сидел неподвижно, боясь шевельнуть тосковавшей спиной. Впереди, мерцая гладкими колеями, бежала кривая дорога. С поля дул ветер. Стонала сухая сосна.

В скотный прогон около фермы, весь избитый следами копыт, лошади въехали с бодрым храпом. С закуржавелых морд мелким стеклом посыпался лед. Ворота коровника закрипели. В распушенной шапке и полушубке вышел из них бригадир. Лицо недовольное. Видно, давал сейчас указание, да кто-то не согласился. Придирчивый взгляд Александра вмещал в себя привезенное сено, Анну с Дмитрием, лошадей, а за ними пустырь и околицу зимней деревни, ища какого-нибудь беспоряд-

ка. К возам бригадир подошел, уже зная, к чему придраться.

— Долго ездите!— упрекнул.

— Так уж вышло,— ответил Дмитрий, развязывая веревки.

Александр пнул ногой по обвисшему сену. Пнул не просто так — с особенным смыслом.

— Да и нагрузили не лишка!

Дмитрий нехотя — не любил когда под руку говорили — перекинул веревки, начал было сваливать воз, но отдумал и закурил.

«В город, видишь, не отпустил,— смекнул Александр,— вот теперь на работе и вымещает свое недовольство...»

— Покурить-то мог бы и позже,— сказал бригадир,— не великое дело сделал. Прокатился четыре версты. Что? Не слышишь?

Дмитрию стало неловко за бригадира. Он сердито выплюнул окурочек. Глаза назрели усталой печалью.

— Можно и кончить. Нам что... — сказал, схватив трехзубые вилы, размахнулся и с кривым поворотом всадил в качнувшийся воз. Сено поплыло вниз взлохмаченной гривой. Спину, скованную надсадой, Дмитрий старался не шевелить, переложив всю тяжесть работы на руки.

Александр глядел на Дмитрия с потаенной завистью, как глядят малоопытные работники на талантливых мастеров, желая высмотреть тайну успеха. «Ну и ломит! Да, кажется, в полсилы. Отчего же не в полную? Может, устал? Нет, не похоже. А может, чует мою подглядку? Ишь, хитрец! Пожалуй, ведь чует»,— подумал с усмешкою Александр, не зная, что Дмитрий в эту минуту скрывает тупую тягучую боль.

Бригадир взглянул и на Анну. Та сгружала неловко, раскрасневшись и пыхтя. Романовский невольно плюнул. В душе поднялось раздражение. «Работнички!» — буркнул он. Подошел, протянул руку к вилам, которые Анна с радостью отдала. Бригадир повторял движения Дмитрия, стараясь работать кистями рук. Но хватило его ненадолго. В голове родилась обидная мысль: «Я ломлю, а баба стоит. Да что это? Обязан я, что ли...» Александр распрямылся и увидел бабьи глаза. В их легкой радостной синеве разглядел стыд, растерянность и хвалу. «То-то ли!» — сказал мысленно бабе и с улыбкой начальни-

ка, показавшего, как надо работать, протянул Анне вилы.

Дмитрий стоял столб-столбом. В пальцах опять папироска. Бригадир недобро усмехнулся: «Настырный!» Но, увидев порожние сани, он удивился и даже вдруг захотел сказать что-то приятное, однако спросил о другом:

— Зять-то у тебя где работает?

— В райкоме.

— В райкоме партии? — удивленно переспросил Александр.

«Да не партии, а райкоме союзов, при управлении», — хотел было поправить Рухлов, но, решив, что это не важно, промолчал.

«Что же ты раньше-то не сказал?» — подумал бригадир, а вслух сказал:

— Ничего не пойму. Вроде каждого знаю. А давно он там?

— Недавно.

— Инструктором, что ли?

— Не-е, каким-то начальником.

— Завотделом?

— Может, и зав. Мне не больно-то докладывают.

— Та-ак, значит, та-ак... — Александр не заметил, как пальцы его застегнули пуговики полушубка. «А ведь могут пожаловаться! — подумал он. По озабоченному лицу прошла тень досады. — Пожалуются, а на мне отразится. Четыре года как проклятый бьюсь в этой дыре. И еще столько же буду...» Увидев, что Анна сгружает воз, Александр протестующе крикнул:

— Не, не, я уж сам!

Снимая пласты перевитого сена, он гадал: «Что ж делать-то, а? Вот незаладка...» Работа больше на ум не шла. Воткнул вилы в сено. Спросил:

— Сколько стукнуло? — но тут же поправился, посчитав, что спрашивать надо как-то иначе. — Лет-то сколько исполнилось?

Дмитрий понял, что спрашивают про зятя. Сказал:

— Тридцать.

— Немного. А Гальке? То есть вашей Галине-то Дмитриевне?

Дмитрий зевнул. Вопросы были какие-то бабьи. Он усмешливо глянул на Анну: дескать, ты говори.

— Галинке-то? — охотно откликнулась Анна. — Да она годков на шесть его моложе.



— И Полозов будет там?

Никакого Полозова Анна не знала, но по тону вопроса, прозвучавшему с искательной ноткой, сообразила: бригадир станет к ним добрей, если она скажет, что какой-то Полозов будет. А может, и в самом деле он будет.

— А как же!— улыбнулась Анна.— Любит тоже вино-то!

— Вы что, знакомы?

— Было дело,— сказала уклончиво Анна и вдруг испугалась, но Романовский ничего не заметил.

— Вы вот что, ребята,— бригадир взял супругов за локти,— передайте ему, что дела в бригаде поправились...

— Чего? Не в город ли отпускаешь?— спросил с недоверием Дмитрий.

— Почему бы и нет?

Александр поспешил к воротам.

— Шурка!— крикнул.— Коней уведешь на конюшню! Да сено тут приберешь. Понял, Шурка?

— По-о-нял!— раздался гулкий далекий голос.

Бригадир ошалел от желания тут же устроить супругам отъезд. Он повел их было к конюшне, но вдруг передумал, оставил стоять и пошел на конюшню один.

— Е-е?— крикнула Анна.

Бригадир обернулся.

— Дак куда мы теперь?

— Домой! Переодевайтесь! То, сё... Лошадь подана будет к крыльцу! На машине бы лучше, конечно, да вчера чего-то она изломалась. На жеребчике! А-а? Мигом доставит!

Анна, ныряя лицом в чемоданы, искала пропавшую кофту. Дмитрий исследовал полати и печь, где должна бы быть красивая кроличья шапка. Наконец и то и другое нашлось.

По ступенькам крыльца прошагал кто-то грузный. Дверь открылась — и в кухню вошла Мария. Дмитрий и Анна переглянулись, словно спрашивая друг у друга, к добру это или нет.

— Здорово, Митрей! Здорово, Анна! Куда это вы собрались? Не на свадьбу ли?

Не дожидаясь, пока предложат, Мария уселась. От-

кинула платок, наострила уши. Супруги снова переглянулись.

— Не на свадьбу,— сказала Анна.

Мария рада предположить:

— Значит, на день рождения?

— Угадала.

— На чей?— допытывалась Мария.— Поди-ко, на дочерин?

— А тебе-то какая разница?— подняла было голос Анна, так как ей не хотелось, чтобы это событие стало известно всему сельсовету. Мария загадочно на нее посмотрела. Уж кого-кого, а бабу вызвать на откровенность ей не стоило ничего.

— А и забыла,— сказала она,— Галинку-то, кажись, об эту пору ты принесла...

— Ври больше!— засердилась Анна.— При чем тут Галинка? Не у нее, а у зятя рожденный-то день!

— Воно-ка что! У зятя? У Клима? Как его? Трофимыча, будто?

— Валентиныча.

— Ну как же! Как же! Помню!— заумилялась Мария.— Он все еще там, по профсоюзной линии?

— По линии!— ответила Анна, чувствуя, как в душе у нее народилась и стала расти тихая гордость.

— Пойду,— сказала Мария, не трогаясь с места,— пойду обряжать теляток своих. Не приведи бог Санка еще по дороге встретить.

Посидев еще с четверть часа, Мария, наконец, поднялась.

— К вам-то я от Лобановых забежала. Слышали? Седни ночью Петро опять Парасковью из дому выгнал. Ревет баба, как под ножом. Еле успокоила.

— Зря это он,— сказал покладисто Дмитрий,— перепил, поди-ко, опять. Так-то ить он мужик не худой. Не бил хоть?

— Мало,— сказала Мария и сделала шаг к дверям, неуверенный шаг, неохотный.— А у Филиповых сын Ерман приехал. Из Мурманска. Два чемодана привез. Пробовала один приподнять. Где там? Ровно камень накладен.

— В люди выбился,— заметила Анна.

Мария вежливо улыбнулась. Дошла с этой улыбкой до двери, возле нее обернулась:

— В лавке, в Давыдихе, слышали? Да вот — муж-

чинские полушубки будут выкидывать. Вчера в сумерцах еще завезли. Не зевайте.

Глаза у Дмитрия вспыхнули. Заиметь полушубок! На жаркой овчине, с кудреватым воротником! Мечтал ли об этом когда-нибудь он, неприхотливый мужик, всю жизнь проходивший в ватной фуфайке? Дмитрий вспомнил вдруг Александра и его полушубок, заметно потерянный на обшлагах. Он, Рухлов Дмитрий Петрович, выйдет, будет наряднее бригадира! Неужели такое возможно? Ему сделалось совестно.

— Уж и не знаю,— сказал и виновато взглянул на Анну.

— Молчи-ко давай,— ответила та,— кровь-то ить не молоденькая. Не все работой ее согреть.

На душе у Дмитрия посветлело. Он хотел сказать нечто доброе и Анне своей, и Марии, но в этот момент за окном проскрипел под полозьями снег. Мария — первой к окну:

— Ой, караул! Гоните меня! Сам, ну-ко, Сано!

Бригадир не дошел до дверей: навстречу — один в новом ватнике, другая в плюшевом черном жакете — принаряженные супруги. Александр снисходительно улыбнулся и тоном добряка, которому ничего на свете не жалко, провозгласил:

— Гордого вам привел! Катайтесь!

В душе у Рухловых — радостная сумятица. Когда еще так относилось к ним руководство? Сани новые, легонькие на ход, на дне внавалку отборное сено.

— Но-о, мило-о-ой!

Тонконогий темный красавец, высоко подымая копыта, побежал благородной рысцей. Побежал, играя хвостом и гривой, точно всем, кто смотрел ему вслед, предлагал хорошенько себя запомнить. За саями сквозь поднятый снежный вихрь летел бригадиров наказ:

— Полозову передайте!..

Анна встревожилась, повернулась к мужу:

— А кто етот Полозов будет?

— Ты что, не знаешь?— ответил Дмитрий.— Начальник производственного управления будет. Главный в районе по сельскому хозяйству.

Над головой неслись быстрые облака. В прогалах холодно голубело небо.

— А как да он не придет, Полозов-то? Что тогда?

Дмитрий сузил глаза, скользнул ими за ближнее по-

ле, за опушку осин, за речку, словно всматриваясь в пространство, за которым где-то таился непонятный завтрашний день. У Дмитрия было такое чувство, словно должен он что-то уладить. Так уладить, чтобы не было плохо ни Анне, ни Александру и вообще никому.

— Там видно будет,— сказал и свистнул кнутом возле конского крупа. От копыт взметнулась метель. Под дугой запозванивал медный гаркунчик. Дмитрий слушал и где-то в глубине перезвона нет-нет да и разбирал чей-то тихий зовущий голос. Голос того, кого он ни разу не видел, хотя чуял его и всегда по нему тосковал. «Разговаривает душа,— понял Дмитрий,— моя душа. С чьей душой? Вот бы это узнать. Вот бы важно...»

Дмитрий озяб держать вожжи. Хотел ненадолго отдать их Анне, как вдруг расслышал тракторный лязг. Снова Солопов! «И чего ему тихо-мирно не живется?»— сердито подумал Рухлов, натягивая вожжи. Конь перешел на шаг.

Трактор надвигался быстро. В кабине сквозь наледь стекла Анна с Дмитрием насчитала пять мужицких голов. Одна — в косо надетой шапке — грозно высунулась из дверцы. Готовясь уступить дорогу, Дмитрий встал на колени и направил коня в сумет. Анна вдруг приказала:

— Ежжай прямо!

В голосе Анны было что-то рискованное и решенное до конца. «Ну уж нет! — про себя возмутился Дмитрий.— Тебя послушай, дак опять комедия выйдет». И сказал:

— Ить нахлещут!

— Не нахлещут,— ответила Анна.— Ну-ко, припороши меня сеном. Я лягу. Скажи, что больная.

— Полно! Кто поверит?

— Я буду стонать...

Дмитрий припорошил, затем встал, принагнул над передком и помахал Солопову рукавицей:

— Ну чего? — прогремел тракторист.

Дмитрий вежливым голосом:

— Пропустите, пожалуйста! Вот, примерно, в больницу повез!

Дмитрий вдруг осознал, что он врет, причем врет опасно. Но, увидев, что ему поверили, осмелел и добавил:

— Едва ли не при смерти!

— Да ты что? Давно ли была здорова?

— Дак ить с возу упала! Кажись, сотрясение головы.

В подтверждение этих слов — из-под сена тонко и жалобно: «О-ой!»

Жирная от солярки пятерня тракториста потянулась к кожаной шапке, нахлобучила ее на глаза. Трактор с бурным рычанием продавил наддорожный сугроб и, пройдя по ольховым кустам, протащил груженные сани.

Путь свободен! Конь, потряхивая удилами, прошагал рядом с тракторным возом. Анна тут же зашевелилась, развалила руками сено и, чихнув от избытка здоровья, поднялась в полный рост:

— Христос воскресе! Вото-ка я!

Из кабины уже не одна — пять высунулось голов.

— Спасибо, товарищи! — кричала Анна. — И покедова! Желаю всего хорошего вам!

Дверцы яростно распахнулись. Мужики один за другим попрыгали в снег. Впереди — в короткой фуфайке, с расвирепевшим лицом большеплечий Солопов, руки сделал хватом.

— Гони! — крикнула Дмитрию Анна. — Да витешок дай сюда!

Бежал Солопов скачками, как сорвавшийся с цепи бык, который вот-вот заскочит на сани и задавит всех.

— В чужие саночки не садись! Пословица есть! — крикнула Анна и размахисто, с провизгом разрубила воздух кнутом.

Иван стал, поднимая руки, точно сдаваясь кому-то в плен. В его уши вместе с храпом коня и убегающим визгом полозьев проникал насмешливый крик:

— Ето об чем говорит? Об том: бегать за бабами поопасись!

Показалась Давыдиха, центр сельсовета. Завернули к сельповскому магазину. Зашли. За прилавком продавщица лет пятидесяти, в халате поверх фуфайки, лузгала семечки. На вошедших взглянула тускло, будто сквозь прошлогодний сон.

— Ну-ко, деушка! — подлетела к ней Анна. — Отпусти нам мужчинский-то полушубок!

— Нету! — сплюнула продавщица скорлупку.

Анна, несколько ошалев, грозно глянула в рот продавщице:

— Как его нету?

Хозяйка прилавка, прихлопнув ладонью звучный зев, прошла по Анне опытным взглядом, каким оценивают людей. Оценила, видимо, низко.

— А так. Спихватились поздно... — И снова принялась за семечки, как бы давая понять, что беспокоить ее может не всякий.

Дмитрий сказал:

— Ну ладно. Что уж делать? Живем и без шубы.

— Да ты что, мужик, с печи свалился! — повысила голос Анна и, поправив на подбородке платок, подошла вплотную к прилавку:

— А ты хватит, буде! Ишь, расплевалась! Выкладывай, говорю, полушубок!

Продавщица оторопела, но тут же пришла в себя и холодно усмехнулась.

— Ну! Нам недосуг! — прикрикнула Анна.

Хозяйке прилавка стало обидно.

— Орать? На меня? Да я вас обоих на пятнадцать суток! Будете знать, как матюкаться в общественном месте!

— Сади! Но только сперва полушубок подай! — Анна розовым кулаком постукала по прилавку. — Тут он! Тут он! Небось вижу! Так что вымай! Мерять будем!

Продавщица вздохнула, поморщилась и сказала немного помягче:

— Вы не из нашей деревни. Вам не положено. Да и нету.

— Ты сама придумала? — блеснула Анна глазами. — Али чье указанье? А ну как я схожу в сельсовет да проверю для антересу?

Продавщица махнула рукой.

— Свяжешься с такими — жизни будешь не рада.

— Верно, деушка, — согласилась Анна, — связываются-то с нами одне дурачки, а ты, сразу видать, не из ихней компании.

Продавщица достала из-под прилавка свернутый полушубок. Анна бережно развернула:

— Ну-ко, Митя, давай!

Ухмыляясь, пыхтя и робея, Дмитрий стал надевать полушубок прямо на стеганую фуфайку.

— Милушко, — подсказала Анна, — едак-то, поди, не налезет. На пенжак накладай. Вот так! Ишь, как ты изменило. Ровно служащий.

— Верно, верно,— сказала и продавщица, подобрев маленько лицом,— представительный стал. Порфельчик в руку — и сошел бы за сельповское руководство.

Дмитрий пошагал взад-вперед, поодергивал полы, карманы опробовал и сказал приглушенно:

— Ну-ко, эдакой новенькой да и мне? Даже как-то неловко.

— Привыкнешь,— сказала продавщица. Шапочку бы еще другую. Хотя бы вот эту, с хромовым верхом. На-ко, примерь! А то что у тебя за шапка? Ровно корова лизала.

— Сиди!— вступилась за шапку Анна.— В первый раз надел — и корова? Сама ты корова!

— Кто? Я? Да я за такие...

Вспыхнул бабий необязательный спор. Дмитрий, чтоб не мешать, потихоньку вышел за дверь. А Анна долго еще швырялась горячими, как угли, словами. Наконец, напугав продавщицу и сама напугавшись, вспомнила, что пора бы уж и в город.

Дмитрий удобно сидел в санях. Снова в фуфайке. Анна спросила его сгоряча:

— Ты чего ето шубу-то снял?

— Поберегу. Наодеваюсь еще.

Анна одобрительно улыбнулась.

Вскоре въехали в город. Конь бежал по краю дороги, сторонясь монтеров с цепями на животе и стаи откормленных псов, готовых лопнуть от лая.

Перед кирпичным высоким домом Гордый круто-взмахнул хвостом. Дмитрий, правя коня в ворота, сказал с тихой улыбкой:

— Вот и приехали. Принимайте, хозяева.

— Ну да ладно!— заворчала Анна, ступая за мужем и недовольно оглядываясь.

Дмитрий махнул рукавицей на дом:

— Да откуда им знать? Ить, не слышно. Стены-то эво какие! Не наши с тобой. И потом о хозяевах судят не по приезду.

Дверь открыла Галина — белоскулая, полная, в васьково-веселом платье и туфлях на тоненьких каблучках. Она радостно вскрикнула. И родители заулыбались, почувствовав, как на них повеяло полузабытым дочерним детством.

Дмитрий и Анна вошли. Навстречу — в черном костюме, под которым белела рубашка, а на рубашке галстук с крупным узлом, — длиннолицый любезный Клим.

— Как мы рады! Как рады! — воскликнул зять, так и дыша бодростью и заботой.

Дмитрий, сам не зная зачем, протянул ему полушубок. Клим признательно улыбнулся, перегнул полушубок напополам и унес его в спальню.

— Мы сейчас! — сказала Галина и тоже ушла за ним.

— Ты чего, мужик? — ущипнула Дмитрия Анна. — Пошто отдал-то? Догони! Не тебе, скажи, куплено!

— Да не отдал, — Дмитрий кивнул на вешалку с верхней одеждой, — тут, мотри, все занято, некуда вешать. А тамо хоть никому не мешает...

— Вона, — смутилась Анна, — а я уж подумала...

Рухловы разделись. Возвратился тем временем Клим. Сделал жест, приглашающий в комнату, откуда сквозь плотно закрытую дверь доносился застольный гомон.

— Давайте! Давайте! — сказал.

Супруги вошли и стали, глядя с отчаянной робостью на застолье. Голубые волокна дыма, румяные лица, чей-то легонький смех — все здесь было проникнуто тем душевно-домашним уютом, какой бывает за столом у давно знакомых людей, которые, выпив, становятся друг другу приятны. Но уют, показалось Рухловым, предназначен был не для них, а для тех, кто еще не пришел, но кто может прийти как равный к равным. Им подумалось даже, что явились они сюда по какой-то нелепой ошибке и исправить ее уже нельзя. «Куда же девался Клим? С ним бы все посмелей», — подумали оба: Клим словно сквозь пол провалился. И они поздоровались.

Все с удивлением обернулись. Крайний к Дмитрию стул сочно скрипнул, с него встал с поощряющей бодрой улыбкой круглолицый плотный мужчина.

Полозов! Дмитрий растерянно улыбнулся, сообщив растерянность Анне, и та простодушно открыла рот.

Полозов плавно повел рукой, собирая в одно стол, гостей, телевизор и зеркало, как бы советуя этим движением никого не стесняться, быть со всеми тут запросто и не скучать. Подошел к смущенным супругам, протянул им ладонь.

Всем сделалось сразу приятно, что Анна и Дмитрий приехали из деревни, что такие они простые и улыбаются



ся славно. По лицам гостей можно было понять, что в общем-то все они не такие уж чужие деревне, даже близкие ей кое в чем, хорошо умеют ощутить и ее нутряное дыхание, и походку, какой она шла и идет, догоняя город. Большинство из гостей родилось в деревне, но порвало с ней связи и при встречах с такими, как Дмитрий и Анна, возвращалось душой в былое. Рухловых тотчас же в несколько рук усадили за стол, угостили пивом и водкой.

В глазах у Анны стелился туман, сквозь который все виделось в преувеличенно-радостном свете. Почему-то взгляд ее в первую очередь схватывал тех, кто был нарядно одет, разговаривал и улыбался.

— Кто это? Во-он тот маломожененькой?— спросила про стройного, с родинкой между бровями мужчину, над которым слева и справа нависли дамы. Мужчина рассказывал что-то смешное, а сам был серьезен и строг. «Анекдотики бает!»— подумала Анна и подтолкнула дочку плечом.— Кто?

Галина пальчиком погрозила.

— Тише, мамка,— и, оглянувшись по сторонам, сказала матери в самое ухо:— Это Тапин. Директор нашего Дома культуры. Юморной такой.

— Ишь ты... Директор... А много ли он получает?

— Не знаю,— пожала дочка плечами,— наверно, рублей сто двадцать.

— А вон тот? Кто такой?— кивнула Анна на рослого, в белой рубаше парня, волосы которого так торчали, что от них на лицо ему падала тень.

Галина с испугом:

— Мамка, хватит тебе. Ведь могут услышать!

— Ну и пушай! Кто?

Галина шепотом объяснила:

— Жилин. Он в газете работает. Страсть какой образованный. Он стихи еще пишет. А поет!..

— Женатый?

— Нет. Ему жениться нельзя: стихи будут худо получаться.

Взгляд Анны поймал показавшийся из-за Дмитрия округлый профиль лица.

— Начальника-то вашего как величают?

— Иван Николаевич...

— Пришел-то, ну-ко!— сказала Анна.— А я-то боялась, как да не придет.

— Что ты, мамка! — шепнула Галина, — Иван Николаевич у нас часто бывает. Иной целый вечер с Климом за шахматами просидят. Мой-от лучше играет, а ни разу еще не выигрывал. Хитренький!

Анну переполюняло бойкое бабье любопытство. Ее так и подмывало узнать про каждого: как зовут, где и ладно ли служит, велика ли получка?

— Эвон, спряма-то нас, белозубенькой... — начала было новый вопрос, но на дочку в этот момент посмотрел именинник. Посмотрел в упор, внимательно, кивнув куда-то на коридор. Улыбнулась Галина:

— Потом, мамка, после. — И легко поднялась, порхнув к двери.

Дмитрий зевнул, прикрывая ладонью неприлично распахнутый рот. Чувствовал он себя стесненно, потому что несколько недобрал. Ему бы еще граммов сто, и тогда бы он был со всеми на равных. Он сидел рядом с Полозовым, блестя своим замечательным лбом. Лоб его завершался белой вершиной и, казалось, вынашивал трудную мысль.

— Еще бы по приборчику, — сказал нечаянно вслух.

Полозов поощрительно улыбнулся. Ему понравилось слово, которым Дмитрий назвал стограммовый стакан. Кругом стоял легкий застольный шум. Звенели вилки, булькал напиток, и, как горох по широкому блюду, рассыпался женский смешок. Полозов чуть прижмурил глаза и плавно повел головой. Стало немного тише.

— Я думаю, — сказал он уверенным тоном, — именинник на нас не обидится, если мы выпьем... — Он торжественно посмотрел на Дмитрия и на Анну, вероятно, желая назвать их по именам, да, похоже, сообразил, что имен не запомнил, сделал паузу, но не смутился и досказал: — Выпьем за наше трудовое крестьянство, представители которого находятся сейчас рядом с нами.

— За тех, кто нас кормит! — добавил тоненьким голосом Тапин, и все на него посмотрели, как на смелого шалуна, умеющего выбирать время для шуток. Пробежал длинный звон стаканчиков, стопок и рюмок.

— Кушайте! Вот салат! Вот грибки собственного соленья! Вот колбаска! — летел приветливый голос Клима, обращавшийся сразу ко всем и, казалось, гладивший по головкам. Клим умел угощать, умел создавать атмосфе-

ру уюта, и еще он умел обращать на себя внимание. Полудежливо, полунебрежно поднял вверх указательный палец и намеренно строго сказал:

— Я настаиваю, чтобы наш Алексей Васильевич Жилин немедленно встал...

Большая квадратная голова Жилина, покрытая гривой волос, упрямо торчавших над лбом, колыхнулась, пошла к потолку. Клим тем временем продолжал:

— ...и прочел стихотворение, которое бы нам обязательно полюбилось!

Левая рука Жилина захватила брючный ремень, а правая, звякнув запонками рубахи, повисла над краем стола. Жилин читал про березы, про дождь, про ветер. Голос его был просторный — таким хорошо говорить на большой пароходной реке. Неожиданно он запнулся, потому что расслышал сознательный длинный зевок. Зевал маленький Тапин, сияя глянцевой кожей лица и розовой родинкой меж бровями.

Жилин хотел оскорбленно умолкнуть, как вдруг увидел Рухлова, который смотрел на него с интересом. Жилин задумчиво улыбнулся и дочитал до конца: «...Люблю грозное качанье березовых плеч под дождем. Люблю пробираться ночами из темного лесу на гром».

Клим, собравшийся было хлопнуть, неожиданно побледнел, с запоздалой досадой соображая: «Не понравился стих! Ну да я! Ничего себе! Преподнес сюрпризец...»

Взгляды скрестились в центре стола — все ждали, как среагирует Полозов.

Иван Николаевич провел ладонью по лбу. Реагировать он не хотел, потому что стихи считал несерьезной забавой, отвлекающей от дел. Сказать прямо об этом он, понятно, не мог: ни за что бы обидел поэта. Но что-то сказать было надо. И он сказал:

— По-моему здесь, Алеша, кроме тебя, литераторов нет. И ты на нас особо-то не сердись, что мы не способны твой стих по достоинству оценить. А за то, что ты его нам прочитал, большое тебе спасибо! — Иван Николаевич умилился, довольный своими словами, и все одобрительно зашумели, заулыбались. Один лишь Жилин не улыбнулся. Он что-то буркнул и, видимо, злое, так как Тапин, сидевший через стул от него, покраснел и громко сказал:

— Я попросил бы не забываться!

Кроме Тапнна, никто не расслышал, что именно буркнул Жилин, но всем сделалось как-то неловко. Клим хотел было вызвать Жилина в кухню и там без свидетелей объяснить, что нельзя и что можно делать в его квартире. Но в этот момент раздался приветливый голос:

— Не горячитесь, Юрий Васильевич!

Это Полозов говорил, обращаясь к директору Дома культуры. Как говорил! Мягко, ласково, будто прикладывал слово к слову, стараясь уложить их поудобней.

— Зачем горячиться? Каждый человек своим мнением интересен, если, конечно, оно есть у него... Как вы думаете на этот счет? — круглое, с вопросительной умной улыбкой лицо Полозова смотрело на Дмитрия. Смотрело в упор, настойчиво предлагая поддержать его или поспорить.

— Да ить как, Иван Николаевич! С какой стороны это все разглядеть! — откликнулся Дмитрий, захотевший вдруг говорить много, умно и интересно. — Применить хотя бы к нашему бригадиру. Гордый, криковатый, кой-кто не любит его. А почему не любит? Потому что мнение у него! Чего задумал, уж не своротишь, слова назад не возьмет. Он ух как строг! А отчего? Оттого, что думает: дай нашему брату волю, и мы, примерно, собьемся с пути, не туда пойдем, куда надо, и колхозу не в пользу, и нам не в добро. Вот какое у нашего Сана-то Романовского на всех нас мнение.

— Постой-ка, постой, Дмитрий Рухлов, — в глазах у Полозова мелькнуло пытлиное любопытство, — про какого ты Романовского говоришь? Как его отчество?

— Дормидонич, — ответил Дмитрий.

Не снимая ладони со лба, в раздумье сгибал Полозов пальцы. Согнулось четыре — значит, четыре года назад...

Вспомнил Полозов долгоязого выпускника совпартшколы, с молодым, но каким-то жестким лицом, которого он хотел перевести на другую работу, если дела у него пойдут хорошо. «Почему бы не взять его в управление, — прикинул в уме, — вместо, скажем, Дерягина? Дерягин стар, боязлив, да его надо так и так на пенсию провожать...» — Полозов улыбнулся и толкнул легонько Рухлова в плечо:

— Как дела-то в бригаде идут? Как у вас там бригадир?

— На моем веку одиннадцать бригадиров сменилось. А такого еще не бывало. Проворно работает.

«А может, в этом его призвание? И стоит ли с места-то шевелить? Вдруг он у нас еще не потянет? Точно, может не потянуть. Управление — не деревня», — подумал Иван Николаевич и быстро переспросил:

— Проворно работает, говоришь?

— Больно проворно!

— Значит, на месте человек. И пусть работает так, чтоб о двенадцатом бригадире никто в деревне и не мечтал, чтобы гремела бригада! Верно я говорю, Дмитрий Рухлов?

— Еще бы не верно, — ответил Дмитрий.

Разговор плыл весело и легко. Иван Николаевич и Дмитрий, уйдя в него с головой, позабыли, что кроме них сидят за столом и другие. Впрочем эти другие тоже вели свои разговоры: Анна — с дочкой Галиной, Тапин — с дамами, Жилин — с серьезными товарищами из Госстраха. Один Клим разговаривал сразу со всеми. И улыбался он сразу всем. И всем казался приятным. Клим смотрел на гостей с изучающей милой улыбкой, как бы прикидывая в уме, кому бы поднять настроение, кого удобнее похвалить, с кем перемолвиться теплым словом. И вдруг он увидел, как по белой салфетке стола, уронив хрустальную рюмку, пробиралась рука. Широкие пальцы добрались до бутылки, обхватив ее и, неуверенно наклонив, направили горлышком в стопку. Клим стиснул зубы и через стол посмотрел на жену, общая ей взглядом: проследи за отцом!

Растерялась Галина, как теряются женщины, когда им велят делать то, чего они не умеют и что все-таки делать придется. Она робко взглянула на мужа, но тот взгляда ее не принял. Галина толкнула ногой валенок матери:

— Папка-та у нас не напьется?

— А пушай! — успокоила мать. — Не кажжий день такие пиры.

Тревожно-настойчивый взгляд терпеливо ждущего мужа словно прилип к Галине.

— Мамка, ты бы ему сказала...

— Ну-ко! Буду я мужику настроенье ломать!

— Но, мам!..

— Сиди! — посуровела Анна.

Галина вздохнула и поднялась.

Дмитрий в эту минуту, запрокинув лысую голову, опрастывал стопку. Выпив, взял с тарелки грибок, пожевал его, улыбнулся. И тут с ним что-то случилось, будто он провалился в глубокую древность, из которой все, что стояло перед глазами, стало казаться ненастоящим, точно кто-то это придумал, как сказку. Он обмяк и, клоны подбородок, откинулся к спинке стула.

Клим взглянул на жену с холодным упреком. Затем обежал глазами гостей, безмолвно каждого умоляя, не обращать на это внимание. Но Тапин, должно быть, его не понял. С баловливой улыбкой анекдотиста, которому все и всегда сходит с рук, подмигнул и сказал:

— Представитель нашего крестьянства не выдержал застольного испытания.

Тапин приготовился слушать смех. Но никто не смеялся и даже не улыбался. Тапин ерзал на стуле. Оказаться неинтересным — это было для него так неожиданно, что он оглянулся по сторонам. Задержал взгляд на Анне, деревенской бабе, в такой смешной пестрой кофте и с таким наивным лицом. И тут его потянуло блеснуть той замечательной шуткой, которая могла бы ему вернуть репутацию первого остроуслова.

— Небось, трудно жить с таким муженьком? — спросил подстраиваясь под тон, каким, полагал, должны говорить деревенские люди.

С недоумением глянула Анна на Тапина, потом — на всех остальных. Но ответа ни в ком не нашла и поэтому промолчала.

Но Тапин тем же поддельным голосом продолжал:

— Пьет, говорю, мужик-то твой? Пьет, поди-ко, как сивый мерин?

Снова Анна глянула. Тяжело глянула, тревожно. И вдруг вспыхнула вся:

— И ты не с брызгу горох! Не первая в кузову ягода! Мой выпьет, дак спит молчком! А ты и этого не умеешь!

Тапин видел, что все на него обратили внимание. Но как обратили? Будто он всю жизнь был таким нераженьким балагуром, после шуток которого всем становится неудобно. Он попробовал объяснить:

— Вы не подумайте... Я не хотел... Я не думал обидеть...

Анна пренебрежительно, словно был перед ней парнишка:

— Маломожененькой! Да чтоб забидеть меня?!

Гости, будто по сговору, длинно вздохнули. Больше всех был подавлен Клим. Голос тещи, казалось ему, оскорбил всех гостей — и сегодняшних, и вчерашних, и тех, которые будут потом. Длинное, мягкое, без углов лицо его принахмурилось, постарело. Клим страдал за гостей. Он желал (как желал!) вернуть им недавнюю бодрость. «Тапин тоже хорош,— думал он,— сидел бы себе, молчал в кулачок. А то все надо отличиться, юмор свой показать. Показал!»

Клим тревожно заозирался, потеряв способность быть обаятельным, и почувствовал: гости вот-вот уйдут, унеся с собой нехорошее мнение об именинах.

Но Клим волновался, кажется, зря. Гости утомились от вина, от шуток, от разговоров, и нужно было в эту минуту нечто такое, чтобы их всех объединило, заставило позабыть перепалки, колкости и насмешки.

И тут встал Жилин. Встал так резко и торопливо, словно кто-то его позвал. Подошел к стене, снял гитару. Во взоре его появилось что-то блуждающее. Пальцы правой руки скользнули по струнам.

Звезда полей во мгле заледенелой,  
Остановившись, смотрит в полынью...

Голова Дмитрия шевельнулась и медленно-медленно поднялась. Он чувствовал, как где-то рядом текло красивое продолжение то ли жизни, то ли забытого сна. Все заветные песни, какие он только знал, сейчас собрались в одной и кружили его полупьяную голову звуками нежной печали. Песня, казалось ему, жила в нем самом, наполняя его высотой удавшегося полета. Дмитрий заулыбался. Он любил теперь всех людей — и худых, и хороших — и желал им такого же чувства, какое испытывал сам.

Затуманенный грустью голос плыл легко и далеко, являя сюда, в эту комнату, власть глубокой странной души, что витала сейчас над всеми и упорно звала за собой в какую-то добрую неизвестность.

...Но только здесь, во мгле заледенелой,  
Она восходит ярче и полней,  
И счастлив я, пока на свете белом  
Горит, горит звезда моих полей...

Жилин замолк. Лицо его стало изнеможенным, точно прожил он за эти минуты целый год беспокойной жизни. В комнате устоялась какая-то добрая тишина. Не только Дмитрий — все ощущали в себе светлую-светлую грусть...

Расходились гости в приподнятом настроении, чему был очень доволен Клим. Последними одевались Рухловы. Клим помог найти Анне ее плюшевый черный жакет, а Дмитрию — новенький ватник. Галина спросила с надеждой:

— Может, останетесь ночевать?

— Да, да,— спохватился и Клим,— в самом деле, стоит ли на ночь-то глядя?

— Нельзя, завтра нам на работу.

Дмитрий почувствовал острый щипок. Покосился на Анну и вспомнил про полушубок.

— Не тебе, скажи, куплено,— строго шепнула Анна.

Дмитрий кисло поморщился и спросил:

— Полушубок-от как?

Клим признательно улыбнулся:

— Хорош, хорош! Я уж мерял его! Как это вы догадались? Так кстатн. В командировках-то знаете...

— Эдак, примерно,— пробормотал рассеянно Дмитрий,— носи тогда. Носи на здоровье.

— Ну, растяпа! Ну, простофиля!— ругала Дмитрия Анна, выходя с ним на увитый потемками двор.

Дмитрий нехотя защищался:

— Да ладно тебе. Заведем и другой...

Он еще чего-то хотел сказать, но почувствовал, замирая, как тело пронзило свербящей болью и снова, как днем, спина его стала чужой. «Неужто завтра я не работник?— подумал Дмитрий, снимая с коня тепляк.— Да нет. Всяко к утрию заживет. Всяко, примерно...»

В свете желтеньких фонарей, горя золотом окон, улица летела в угор, подсиненный мраком сугробов. Летела глухо и низко между черных домов в неподвижно-седое пространство, где плыла в окружении снежных полей огромная зимняя ночь. Конь, тоскуя по теплой конюшне, вез Рухловых со всем старанием.

Домой приехали в полночь. Анна сразу на печь.

Дмитрий сел покурить. Боль в спине поутихла, терпеть можно было. Посмотрел за окно. Где-то в небе



огненной каплей промчалась звезда. Вздрогнул Дмитрий. Показалось, что звезда рванулась навстречу. «Ишь ты,— подумал,— ровно живая душа»,— и улыбнулся заснеженной мгле, под громадным крылом которой, объятые сном, отдыхали ночные деревни.

За спиной отворилась дверь. Дмитрий нехотя обернулся — Мария!

— Где-ка он? Показывай, Митрей! — Мария спрашивала о покупке.

— Нету,— сказал.

— Али не купили?— удивилась Мария, освобождая уши от полушалка.

Отвечать Дмитрий смерть как не хотел. Вздохнул, как вздыхают, когда разговор превращается в наказание.

— Уж не зятю ли подарил?— спросила Мария.

— А чего тут такого? Чего особенного? Мне мал оказался. А ему в самой раз. Он ездить в нем будет. В командировки...

Улыбнулась Мария и тут же стала серьезной. Самое большее для нее удовольствие — получить занятную новость. И вот — получила.

— Добрые-то какие,— сказала она с надеждой разговаривать мужика и узнать от него все подробно.— Вот бы не подумала. Вот бы никак. Да вы что, рожонные, опупели?! Али он мене вас получает? Да он за вас за обоих...

Дмитрий шагнул к ней.

— Ну вот что... Об этом ты в другом месте расскажешь!

Мария икнула, растерялась, полушалок забыла поправить — так с простой головой и выскочила на холод.

Дмитрий двинулся следом — запереть крылечную дверь. Но услышал: кто-то идет. По быстрому командирскому шагу, по сердитому матерку смекнул: идет бригадир и, кажется, недовольный.

Александр ступил на порог.

— Приехали субчики! — сказал мерзлым басом.— Приехали, черт возьми!

— Али приезжать-то не надо было?

Бригадир вызывающе усмехнулся:

— Так, так! У зятя, значит, гостили! А зять работает где? Где угодно, но не в райкоме! Я проверял! Нету там никакого нового зава. Да за такое мошенство я вас обоих...

— Как знаешь,— промолвил Рухлов.

— Про Полозова наврали!— шумел Александр.— Придет на ваши он именины? Многого захотели!

Дмитрий сказал:

— А ить был. Говорил еще об тебе...

Романовский остолбенел.

— Вот черт!— сказал с растерянным удивлением.— Чего же сразу-то, а? Сразу-то чего не сказал?

Улыбнулся Дмитрий, но как-то странно, словно предназначал улыбку свою кому-то третьему, кто, казалось, стоял за спиной бригадира.

— Сразу-то с тобой не кажжий умеет.

Александр оценил его смелый ответ.

— Он еще меня спрашивал про твое бригадирство: как-де справляешься.

— Так, так. А ты что?

— Я счетом сказал.

— Каким таким счетом?

— Да вот, говорю, одиннадцатый ты у нас бригадир и такого еще не бывало.

— А он чего?

— А Иван Николаевич довольнехонек стал. Говорит, пушай-де работает так и дале.

Романовский почувствовал легкий озноб где-то над поясницей:

— Так и сказал?

— Из словечка в словечко. А еще пожелал, чтобы люди в деревне никогда не мечтали о двенадцатом бригадире.

Александр прошелся по кухне.

— Значит, он полагает, что кроме бригадирства ничто мне более светить не должно?

— Об этом не было разговору.

Романовский уселся на лавку, задумался хмуро: «Для кого я целых четыре года старался? Для колхозников. Все для них. Да еще для Полозова. Вывел бригаду в гору. А меня и забыли. Снова, может, пойти в управление? Убедить там, что я трачу энергию не на то. Должны войти в мое положение...» Александр закурил. Затяжки были так глубоки, что посыпались искры, от которых, казалось, вспыхнет кухонный половик. Сказал ядовито, обращаясь к хозяину дома:

— Забыли... Надо же... Вот бы чего не подумал... А может, ты этому рад?

Раздражение, обиду и ревность услышал Дмитрий в словах бригадира. И еще отзвук той непреклонной власти, от которой всегда становилось ему неприятно.

— Рад? — повторил Романовский, которому надо было на ком-то сорвать досаду.

Дмитрий глянул на бригадира, на его неширокие плечи, на растерянные глаза, на свисавший к бровям клочок волос и увидел в нем страшно уставшего мужика. Дмитрий сказал:

— Я рад другому.

— Чему же?

— Я рад, что ты у нас гордоватый.

— Дак хорошо это или худо?

— А то и другое вместе, — ответил Рухлов. — Худо, потому как пользы от этого никакой. А хорошо — хоть шапку ни перед кем не надо тебе сымать.

Задумался Александр и не заметил, как пришло к нему более-менее сносное настроение. Сказал поспокойней:

— Не много, не много мне, по-твоему, дано...

— А человеку много дано только в последний день.

«А что? — задумался Александр. — Пожалуй! Человеку в последний день надо проститься с тем, чего он всю жизнь добивался. Чего я, например, добивался? В общем-то, жизни, в которой бы мне было хорошо. И чего я добился? А ничего. Выходит, что я пока не живу, а только еще готовлюсь. Не слишком ли долго готовлюсь? Четыре года... Целых четыре... А как, интересно, другие? А-а? Дмитрий хотя бы? Он тоже, быть может, живет не той жизнью, какую когда-то себе придумал? Да и нужна ли другая жизнь? Кто знает, какая она?..»

— У тебя, Дмитрий, есть какая-нибудь мечта?

Рухлов погладил ладонями лавку, голову приподнял. Из слегка опечаленных глаз его глядела на Александра всемужичья огромная жалость, жалость к тем, кто живет сегодня неустроенно, неприятно.

— А как же. Только вслух ее говорить нельзя.

— Почему?

— Тайное в ней пропадет. А без тайного что за жизнь?

Александр ободрился, сердце в груди застучало ровнее, и вдруг с его губ с каким-то мальчишеским вдохновением слетели слова:

— Черт с ним, с Полозовым! Не хуже других живем. И нам повезло — человеками родились!

— Это первое диво,— подхватил с удовольствием Дмитрий,— потрафило нам верно.

— А второе какое диво?

— Второе приходится на женитьбу. Каждая невеста для своего жениха вырастает.

Александр с неприязнью вспомнил свою жену.

— Бывают и исключения.

— Дак это когда берешься за локоток не своей невесты.

— Как тут узнаешь? На нем не написано.

— В том и диво, что надо не ошибиться.

Бригадир закурил еще одну папиросу.

— А что? И третье, скажешь, есть диво?

Может, совсем о другом стал бы спрашивать бригадир, если бы в эту минуту он позорче взглянул на Рухлова. А Дмитрий словно усох и лицом и телом, скулы неестественно обострились, в глазах его плавала мгла.

— Третье диво,— сказал он сквозь силу,— самое темное. Про него мы узнаем в последний день.

Бригадир снисходительно улыбнулся:

— Ну-у, так-то не надо. Лучше без темноты.

Он еще чего-то хотел добавить, но, видя, что Дмитрий устал, простился с ним и ушел.

«Как работать-то буду?—думал Дмитрий, мрачно глядя в окно.— Анна худо, видать, сошшипнула. Недостаточно, ох! Ну да как уж-нибудь. К утрию, может, и полегчает».

Он сомкнул набрякшие веки и тотчас же увидел перед собой целую армию мужиков, почему-то похожих одновременно на бригадир, певца на именинах и начальника управления. Они шли под окном его пятистенка, удалые, высокие и, подмигивая ему, приглашали отправиться с ними. «Нам бы вместе ходить, по одной дороге!»— как под песню, подумал Дмитрий, но секунду спустя смекнул: вместе им не ходить — слишком разные они как по складу ума, так и по способу жизни. И душа любого из четверых может слиться с душой другого, вероятно, один только раз. И сегодня это уже случилось. «Счастливый случай»,— подумал Дмитрий и быстро открыл глаза.

Он попробовал было встать, чтоб пройти в горенку-боковушку, где стояла кровать, но тело его обожгло мо-

розом, и оно стало крениться вбок. Ладони уперлись в лавку и, разъезжаясь пальцами, задрожали. Дмитрий прислонился затылком к стене. Он всмотрелся в висящий в воздухе золотисто-веселый кружок и разглядел в нем электрические спиральки, которые вдруг превратились в мохнатые лапки. Лапки спускались ему на глаза. Дмитрий вздрогнул: «Вот оно темное диво! Будь оно проклято! Никому его не желаю...»

Дальше он ничего не помнил.

Пришел в себя в незнакомом месте. Огляделся вокруг. Слева и справа кровати. На них под белыми простынями — остроносые мужики. Дмитрий напряг ослабленный мозг: «Где-ка я? В больнице?!»

Открылась высокая дверь, и вошла сухошавая санитарка. Дмитрий спросил:

— Доктор, примерно, скажи: выживу я ай нет?

Санитарка поправила сбившееся одеяло:

— Теперь-то уж выживешь.

— А работать-то как? Смогу?

— Сможешь. Только возы боле такие не подымай.

— Ништо! — улыбнулся больной. — Али нашим спинам бояться тяжёла? Вали тово боле, небось, устоят...

Дмитрий лежал, вбирая в грудь пахнувший йодом воздух. В душу входило то старинное, дорогое, что когда-то его волновало, но было забыто им и теперь как бы рождалось вновь. Он почувствовал себя раскованно и беспечно, как бывало лишь в давнем детстве, когда рядом с верным дружкой хотелось идти далеко-далеко...

В большое окно палаты вливал воскресающий зимний день. Голубел каменный угол дома. Перед домом висела ветка, а на ней дружной семейкой сидели озябшие воробьи. На них сыпался редкий снег. Сердце Дмитрия сладко зануло. Таким все вокруг показалось ему домашним, что почувствовал он теплую нежность и к ходившей между кроватями санитарке, и к больным, что жили один на один со своей болезнью, и к Анне, и Александру, привезших его сюда, и к упругой березовой ветке, и к воробьям, и к углу голубого дома, и к низкому серому небу, с которого падали реденькие снежинки. И ему померещилось, будто сейчас он дома. Да он и был действительно дома, на своей родимой земле.

## СОРОЧЬЕ ПОЛЕ

### 1

Солнце, распугивая потемки, поднялось из-за бора, и несколько длинных его лучей скользнуло в окно. Василий Михайлович Белоусов тотчас проснулся, сел на кровати и поглядел на бежавшие по весеннему насту белые наливни света, на посадки домов, на скворечники в ветках, па длинный недостроенный двор, где, возможно, в этом году уже разместится все стадо колхоза. Глядел, ощущая себя хозяйственным мужиком, который на целую жизнь заряжен силой на работу. И вдруг в голове его жестко-жестко, как молоточком, простукало: «Ты хотя и хозяин, да переменный». Василий Михайлович поскутнел. «Кабы Симка под свой норовок не тянула», — подумал с досадой и шагнул из горницы.

Жена вместе с падчерицей, толкаясь у печки, что-то жарила. В последнее время они старались угодить Белоусову во всем. Уж больно загорелось им перебраться в город. А это зависело от него.

В печи прогорало. Ломались желтые угли. От масла на сковородке плыл к потолку горьковатый чад.

Серафима, полнорукая, круглая баба в белом платочке, едва муж помылся и сел к столу, поставила перед ним блюдо горячих блинов, а дочка ее Светлана принесла сковородку картошки и побежала заваривать чай.

Позавтракав, Василий Михайлович малость повеселел, словно в нем заиграл такой же солнечный зайчик, что выплясывал сейчас на стене.

— Ну, я помчался.

— Обедать-то всяко придешь?— спросила Серафима.

— Не знаю...

— Ой уж, Василий! Работа твоя — врагу такую не пожелаешь. Скорей бы отсюда...

Серафима умела тронуть душу хоть кого, и Белоусов, кутаясь в полушубок, поспешил уйти. Сколько можно твердить об одном! Ведь уж решено, что они через год покинут Сорочье Поле. Причин уезжать отсюда у Белоусова не было ни одной, у Серафимы же их десяток: то дочку замуж пора выдавать, то ремонтировать зубы... Но крепче всего напирала супруга на то, что Василий Михайлович весь извелся, что председательство его доконает. Поддаваясь жене, Белоусов стал с затаенной тоской задумываться о прошлом, находя в нем много такого, отчего устает и старится человек. В своей мужицкой жизни Василий Михайлович только и делал, что не по своей воле приезжал в отстающий колхоз и из последних сил тянул его из прорыва. Трижды он добивался цели. Теперь ему пятьдесят два с половиной года. На голове среди желтых, когда-то густых волос появилась заметная плешь. Породисто-крупное, с длинным носом лицо стало каким-то поношенным, вялым. И все чаще являлась мысль, что со всеми делами, какие сейчас он ведет, лучше мог бы справиться другой.

Василий Михайлович уже два раза говорил об этом с начальством.

— Что, друг председатель,— спросил его секретарь райкома партии Холмогоров,— дезертировать хочешь?

— Нет,— ответил Белоусов,— могу и дальше работать, только хозяйству от этого пользы будет немного.

— Объясни.

— Дать хлеб, молоко, мясо — это еще могу. Но молочный комплекс, дорогу с гравийным покрытием, мелiorацию сорных пизни — едва ли вытяну. Тут нужна свежая голова.

— И где же она?— спросил секретарь.— Ты о замене своей подумал?

О замене как раз Василий Михайлович и не думал. Лишь каким-то чутьем определял, что, пожалуй, лучше его может повести дела в колхозе зоотехник Олег Николаевич Хромов, настойчивый, строгий, из тех, кто умеет воздействовать на людей. Сказал о нем председателю райисполкома Герману Гурьевичу Дуброву, приехавшему в колхоз на отчетно-выборное собрание. А тот наотрез:

— Нет, нет! Хромов молод. Ему еще двадцать четыре. Вот годика через два...

— Это что? До нового отчетного ждать?

— Вот-вот, до отчетного. А уж там ты можешь на все четыре... Кстати, куда ты намерен?

— Хочу купить у вас в городе дом,— открылся с готовностью Белоусов,— там, видно, до пенсии и останусь.

Дубров задорно рассмеялся. Он всегда так смеялся, когда кому-нибудь что-нибудь обещал:

— Да я тебя к себе в аппарат заберу! Что? Откажешься? Только попробуй!

...До отчетного оставалось меньше года. Поторапливаемый женой, Белоусов еще зимой купил на окраине города дом, и теперь оставалось самому не сорваться и не слечь да уберечь зоотехника Хромова от расстройств, потому что Олег Николаевич был человеком вспыльчивым, мог рассердиться и сгоряча написать заявление на расчет.

Шел Василий Михайлович вдоль деревни и грустил. К реке спускалась шеренга домов, подставляя под потоки лучей высокие окна. Снег лоснился, как сало на сковородке, и смотреть на него было больно. На крыше, припав животом к сумету, отдыхал измученный дальней дорогой грач. Неплохое все же место Сорочье Поле...

Белоусов привычно свернул на ферму. Зоотехник был уже тут. Окруженный доярками, кого-то распекал. Был Олег Николаевич в кожаных сапогах, фуфайке и кепке. Возле него всегда возникала какая-то толчея, и кто-то должен был при этом внимать каждому его слову, кто-то преданно улыбаться, а кто-то каяться и краснеть.

— Опять, что ли, с минусами идем? — вмешался Василий Михайлович.

— Опять,— подтвердил зоотехник недовольным и жестким тоном, словно в минусах этих был виноват лишь один председатель.

— Сегодня Спасского посылаю,— сообщил Белоусов.— Волокушу комбикормов притащит...

— Кто-то даст? — улыбнулся неверяще зоотехник.

Белоусов почуял в этой улыбке обиду и злость обиденного человека, который спит и видит себя во главе колхоза.

— Даст «Красное знамя».

— За просто так? — усомнился Хромов.



Белоусов взглянул на него с видом человека, который знает, что будет трудно, но с трудностями справиться все-таки можно.

— Сочтемся уж как-нибудь.

Зоотехник холодно усмехнулся.

— Один хозяин тоже вон счелся, дак потом всю жизнь долги отдавал.

Это было уже приглашение к спору, к необязательному, пустому, и Белоусов нахмурил лоб.

— Одной меркой меряешь всех. Так, Олег Николаевич, не пойдет.

Хромов что-то ему ответил, но председатель уже не слушал, он шагал по тропе и под скрип раскисшего снега расстроено думал, что зоотехник, пожалуй, из тех слишком рано уставших от жизни людей, которые все подвергают сомнению и уже ни во что, кроме зарплаты, не верят. И опять в груди у него заболело. Отдать колхоз на управу тому, кто превосходно знает работу, но кто не вложит в нее свою жизнь? Не станет ли это его ошибкой, которую после уже не поправишь?

У крыльца конторы поуркивал «козлик». Борька Углов, деревенский пижон в городской легкой шубке и кепке с помпоном, сидел за рулем, готовый поехать куда угодно, только дай председатель ему сигнал.

— Жди!— сказал ему Белоусов и взошел на крыльцо.

Сидеть в конторе Василию Михайловичу не хотелось, потому что замучает телефон и к вечеру обязательно заболит голова. Он решил проехаться по бригадам, но не дошел и до двери, как в кабинет, задыхаясь, влетел бригадир Баронов.

— Михайлыч! Машина нужна! Скорей!

Передовую доярку Евстолию Гудкову схватил приступ аппендицита, когда она сливала в бидон молоко.

— Синенькое и красненькое вижу!— закричала она и грузно, будто мешок пшеницы, осела к порогу, опрокинув ногой ведро.

Бригадир Василий Баронов, перепрыгнув лужу, пулей выскочил из аппаратной, за какую-то четверть часа слетал в деревню за Борькой Угловым. Борька, ломака, каких поискать, заупирался: я, мол, личный шофер председателя, и без его указаний—никуда. Пришлось бежать к Белоусову за разрешением.

...Борька нажал ногой на педаль. Провожая взглядом пробирающуюся зажерами машину, Баронов гадал: а кто же будет доить Евстолино стадо?

Под вечер, когда огороды и крыши зарозовели от света зари, бригадир пошел по домам. Сперва уговаривал Пушу, кроткую, чистенькую старушку, когда-то работавшую дояркой.

— И рада бы, Василий Иванович,— говорила она, протянув ему ладони с кривыми и толстыми пальцами,— да, вишь, руки-ти как рогатки. Тридцать лет ходила за стаей — тамо и насадила. До сих пор боркунчики в них сидят, косточки мои точат...

«О, черт! — про себя ругнулся бригадир, погружая ладонь в ворох волос под шапкой.— Хоть сам в доярки иди».

Заглянул Баронов на всякий случай и к чернобровой Ларисе, вспомнив, что та тоже когда-то была дояркой, но, окончив вечернюю школу, стала заведовать клубом. Василий Иванович полагал, что в такой серьезный момент Лариса должна бы согласиться, тем более, что дел в клубе вроде не так уж много и не такие уж они неотложные.

Застав Ларису за стиркой белья, бригадир осторожно спросил:

— Лариса Петровна?

— Я самая,— сказала Лариса, и было видно, что ей неудобно за ворох белья на полу, за намыленные руки, за клеенчатый фартук и за лицо, на котором и брови не так черны и строги, как обычно, и губы бледны, и ресницы короче, чем надо.

Баронов сказал о цели прихода. Лариса, вытерев руки о фартук, заговорила так страстно, так всполошенно, как если бы ей приходилось спасти свою честь:

— Хотите, чтоб все надо мной смеялись? Завклубом — и вдруг в доярки. Да это же глупо! Это же неэтично! И кому такое в голову только пришло? Кому, Василий Иванович? Всяко не вам. Вы-то ведь грамотный человек.

— Да это так, — промямлил Василий Иванович, не зная, как поскорее отсюда уйти, потому что завклубом имела обыкновение разговаривать бесконечно.

— Вы человек культурный, — продолжала Лариса, — и тоже должны понять, что я перегружена клубной работой. Сегодня вот выходной, так дома стираюсь, а в

другие-то дни разрываюсь на сто частей. Надо концерт подготовить. Надо лозунги напечатать. И стенгазету, кажется, надо. Я сама в помощниках нуждаюсь. Сама хотела у вас человека просить...

Василий Иванович отступил на шаг к порогу:

— Потом об этом, потом...

Разгневанная Лариса полезла в печь за горячей водой, и Баронов вышел. «Не баба, а радио,— думал он,— любого заговорит...»

Зашел бригадир еще в один дом, где жила крикливая рыжая Пелагея с кучей детей. Пелагея качала в зыбке трехмесячного сынка, который ревел до синевы на щеках. Сняв петлю с ноги, Пелагея надела ее на валенок сидевшей рядом дочки и махнула рукой на реву.

— Каб не этот гудок... Ишь, завелся. А то бы чего? Я готова! С завтрава дня, гышь, доить-то?

— С завтрава.

— А чего... Можно, пожалуй. Приду. Отдохну хоть маленько от этого аду!

— Это точно?— спросил бригадир.

— Приду, коли этот пашенок утихнет. Грыжа, что ли, грызет?..

«Не придет»,— понял Баронов, ибо не первый раз слышал от Пелагеи подобные обещания, ни одно из которых она еще не выполнила. Да и куда ей от такой семьи...

Уже начинало темнеть, и на клубном крыльце заморгал электрический свет. Утихала капель, летевшая весь день с подстрехов и карнизов. Пахло талой водой.

В колхозной конторе, куда пришел Баронов, был только Ларисин муж—зоотехник Олег Николаевич Хромов. Полнолицый, с маленьким подбородком, в залоснившемся пиджаке, на котором сиял институтский значок, он сидел за столом и имел очень занятой вид. Взглянув, как рука зоотехника с авторучкой ходит по форменному листу, Василий Иванович робко кашлянул:

— Кхе! Гудкову, вот, в город отправил. Кхе!

— Хорошо, хорошо,— ответил баском зоотехник.

— Хорошо, да не больно. Надо замену искать.

— Я не против, не против...

— А где? Где искать-то?— спросил бригадир.— Обошел всю деревню, а толку...

— К председателю обращайся.

— Нету его.

— Нет — так будет.

— Когда еще будет? Говорят, уехал.

Олег Николаевич с теми, кто был слишком назойлив и беспоянтив, умел разговаривать жестко:

— Видишь или не видишь, что и я при деле? — сказал он, взглянув на Баронова с раздражением. — Завтра будут звонить из района, а у меня сводка еще не готова! Собирай вот с вас сведения, будто сами не знаете сроков отчетности.

Из конторы Баронов направился в сторону дома с шатровой крышей, где жил сорокапятилетний бобыль Паша Латкин, про которого говорили занятно: «Богу не угодил, а людей удивил».

Открыл Василий Иванович дверь и сквозь облако дыма едва разобрал компанию мужиков, сидевших кто за столом, кто на лавках, кто на приступках печи. Все в расстегнутых телогрейках, в сапогах, под которыми на полу темнели подтеки. Сидевшие за столом резались в карты, другие толковали о новых ценах на водку, о сенокосных участках, о штрафах, пенсиях и авансах.

Едва бригадир примостился на табуретке, как услышал тоненький голосок, звучащий где-то под потолком:

— Василь Иваныч! Ты ли это? Кто тебя эдак разволновал? Нельзя ли мне за тебя заступиться?

Баронов шапку сронил, подымая лицо к полатям, на которых лежал Паша Латкин.

— Дела неважнецки, — сказал бригадир, вздыхая так глубоко, что грудь его поднялась и на ней расстегнулась фуфайка. — Захворала Евстоля. Ищу вот замену.

— Сколь коров-то донть?

— Двадцать.

— Даивал и поболе, — соврал для чего-то Паша.

— Умеешь, что ли? — спросил бригадир с сомнением и надеждой.

— С детства обучен.

Бригадир поднял шапку, погладил слежалый, с пролысками мех и просительным голосом предложил:

— Тогда, может, договоримся? На пару деньков? А, Паша?

Мужики засмеялись, загыкали, понимая, что Паша рядится ради потехи. Но Латкин, затронутый за живое, быстро забожился:

— Выручу, вот те хрест! — и с достоинством прошел-

ся по кухне, маленький и сухой, в хлопчатобумажной вязаной кофте, с загорело-морщинистым лицом.

Кто-то усомнился:

— Силешки, Паша, не хватит!

Хозяин так повернулся на месте, так сверкнул глазами в сторону сомневающегося, что мужики попритихли, уставясь на Пашу с нетерпеливым вниманием, с каким глядят на опытных шутников, привыкших озадачивать всех и дурачить.

— А мы спытаем сичас!— улыбнулся Латкин и, закатав рукава хлопчатобумажной кофты, начал сгибать руки, щупать мускулатуру.

— Силешка-та во! Мотрите! Али у кого еще есть такая? Могу и не эдак, точена мышь. Эй, Вовка!— крикнул и, повернувшись к дощатому голбцу, стащил оттуда лежавшего с книгой юного постояльца.

— А ну пособи!— приказал ему Паша.

И не успела компания глазом моргнуть, как Латкин встал на руки, упираясь пальцами ног в шерстяных носках в желтый дверной косяк. Так и стоял вверх ногами. Кто-то не вытерпел и спросил:

— Али удобно?

— Удобно!— ответил хозяин с паугой.

— А дальше чего?

— Концерт по заявкам.

— Спой песенку, Паша!

И Паша, наливаясь кровью, запел любимую с детства:

Чижик, чижик, где ты был?

— На болоте воду пил.

Выпил рюмку, выпил две —

Зашумело в голове...

Закончив петь, встал с помощью Вовки на ноги и неверной походкой приблизился к стулу. И было ему приятно сидеть посреди избы и слушать мужицкий хохот, такой дружный и громовой, что дрожали рамные переплеты, а лампочка над столом шевелила алой спиралькой. Но сквозь галдеж до Паши донесся вопрос:

— Обряжать-то пойдешь?

— А для чё я силу показывал?— откликнулся Латкин, и его лицо отразило решимость.

Потому Латкин и согласился пойти на ферму, что стало жаль ему бригадира, который уж слишком был добр, мягок и не умел настоять на своем. Ферма Пашу ничуть не пугала. Было здесь сухо, тепло, да и не так наломаешь кости, благо есть доильные аппараты, автопоилки и транспортер. Освоить дойку — хитрости много не надо. Знай лишь кланяться перед коровой, надевай стаканчики на соски да похаживай руки в брюки. Так и начал свою работу. Наклонялся да распрямлялся. Закончил дойку раньше всех. Пришел в аппаратную, закурил и увлекся чтением «Сельской жизни».

Но тут дверь скорготнула по полу, и в аппаратную ворвалась рыжеволосая Анна, старшая дочь матери-героини Пелагеи. Встала напротив Паши руки в бока и, розовея от злости:

— Чё коров-то не доишь?

— А я уже! — улыбнулся Паша, перегибая «Сельскую жизнь» и кладя ее на колено. — Сначала одну, потом — остальных!

— Чем доил-то?

— Аппаратами, а чего?

— А ручками? Додаивать?

— Ручками... Хе-е... — Латкин положил ладони поверх газеты, посмотрел на них с любопытством. — Они у меня, но правде сказать, этому не обучены.

— А почто согласился? — возмутилась Анна. — Тако и без тебя бы обошлись, ну-ко!

Делать нечего. Паша поднялся, взял пустое ведро. С грехом пополам, но все-таки подоил всех коров. Правда, при этом был поднахлестан хвостами, умазан навозом и с непривычки утомлен.

В аппаратной, куда он приплелся с неполным ведром молока, сидели все пять доярок. Завидя Пашу, они переглянулись и начали бойкий допрос. Первой сунулась Анна.

— Эдак мало? — сказала с усмешкой. — Поди-ко, пролил, христовый?

Отпираться Паша не стал:

— Пролил.

— Сколь раз пролил-то? — хихикнула молодая Маруся.

Паша тоже хихикнул:

— Кажись, более одного.

— А ты бы поаккуратней! — подсказала сурово Агния, любившая давать советы. — Ты бы старался, как хорошие люди.

— Верно, точена мышь, — согласился с ней Паша и, усевшись на табуретку против сестер Натальи и Ольги, хлопнул их по широким коленям. — А вы чё уставились на меня, как архангелы на господ-бога? Давай-ко-те подскажите, как надо работать, чтоб выйти в передовые.

«Архангелы» улыбнулись, отчего их пышные щеки поплыли вверх, прикрывая глаза.

— Не смейся, зимогурошко! Чего мы, родимой, знаем? Тёмно да рассвело. Ты уж лучше пытай у старшей доярки.

— Нече пытаться! — отрезала Анна и решительно поднялась. — Пора и домой, а то завтрак остынет.

— И я так считаю! — Паша встал с табуретки и направился было к дверям, но Анна схватила его за хлястик халата:

— Ты вычистил у коров?

— Не...

— Дак возьми и почисти. Успеешь домой. У тебя не семь робенков по лавкам.

У Паши тут же испортилось настроение. Пришлось взять скребок и пройтись с ним, как с плугом, по всем двадцати увавоженным стойлам.

...Полдня мужик промаялся на дворе. На обеденной дойке Анна его отругала при всех:

— По кой лешой приперло тебя сюда! Дои, буде, по ладу! А не то!..

Паша попробовал оборониться:

— Не ори на меня, а то растеряюсь, и дело пойдет хуже.

— Ничё! — успокоила Анна. — Пригрозка еще никому не мешала.

К вечеру Латкин совсем приуныл и стал поглядывать на коров, как на самых вредных существ. Поглядывать и с досадою вспоминать бригадира, который, хоть и не боек, а заставил-таки его заниматься бабьей работой. Наверное, он сбежал бы с фермы, плюнув на всех коров, но на двор заглянул Белоусов. К Паше он подошел с таким выражением лица, словно хотел его с чем-то поздравить.

— Доим, говоришь?— сказал председатель, опираясь рукой о заборку.

Латкин взглянул на него выжидающе, желая угадать, с какой-то целью он сюда заявился. И понял: сейчас станет уговаривать поработать еще денек-другой. «Нет уж!»— решенно подумал Паша и пробубнил:

— Первый день...

— Знаю, знаю,— Василий Михайлович улыбнулся.— Мне бригадир все рассказал. Молодчина! Выручил в трудный час.

Латкину стало неловко. Хвалят вроде бы как за дело. А он от дела лыжи уже наострил.

— Надо кому-то и выручать,— сказал, опускаясь перед коровой с почти пустым ведром молока.

— Вот-вот!— подхватил Белоусов.— На сознательных держится наша жизнь. Жаль вот только, что их у нас маловато.

— Да уж не лишка.— Паша похлопал по вымени пару раз, помял его, дернул за каждый сосок и, покосившись на длинные председательские ноги в потертых кирзовых сапогах, скромно признался:— А я ведь, Михалыч, тоже себя сознательным не считаю. Работаю как могу и хотел бы лучше, да нету толку.

— Ишь, чего захотел! — пожурил Белоусов.— В первый день да чтоб толк? Не спеши. Все придет в свое время— и успех, и мастерство. Через годик, а то и раньше перейдем на комплексный двор. Там работать куда веселей. Чистота, автоматика, выходные... Скоро кое-кого начнем посылать учиться на мастеров высокого класса. И тебя пошлем, если будешь стараться. Так что, Паша, не унывай!

Председатель дружески улыбнулся, взмахнул прощально рукой и пошел со двора.

Латкин вдруг испугался, что Белоусов не так понял его. Он вскочил со скамейки и резким голосом закричал:

— Михалыч! Ты уж прости, но на ферму я не ходок!

Такого Василий Михайлович не ожидал. Баронов ему сказал, что Латкин — опытный животновод и готов постоянно работать на ферме:

— Как так?— строго спросил Белоусов и смутился, почувствовав, что спросил как-то по-милицейски.

— Не люблю я этого, не привыкну.

Белоусов вздохнул, точно хотел укорить: «Эх, Паша, Паша!..» Однако не укорил.



Шел Василий Михайлович в серых сумерках по деревне и покачивал головой. «Перехватил бригадир. Желаемое выдал за факт. Ну да ладно. Бывает проруха». На Пашу Василий Михайлович не сердился. «Хуже было бы,— думал он,— если б Латкин работал из-под палки. Это уже не то. Принудительный труд еще никого в счастливые люди не выводил. Счастье, когда человек своим делом занимается. Угадать бы свое-то дело. Я вот, к примеру, каким занимаюсь? Если своим, то почему собираюсь отсюда уехать? Ведь там, в районе, не будет такой работы. И людей не будет таких. Привыкну ли там я?..»

На дороге перед конторой на сто голосов гомонил сорочий базар. Белобокие птицы галдели, как злые торговки, вот-вот готовые подражаться, виляли хвостами и, сея в воздухе пух, взлетали на крыши и огорожи. И чего они взбеленились? Казалось, что сороки кого-то передразнивают. «Уж не моих ли колхозников?»— усмехнулся невесело Белоусов и подумал о том, что завтра, пока дорогу не развезло, необходимо послать в «Сельхозтехнику» трактор. И доярку вот где-то надо найти. А где? Что подсказать Баронову? Не больно он сам-то изворотлив...

Размышляя о бригадире, Белоусов не столько досадовал, сколько жалел его. И вообще жалел он каждого человека, кто хотел бы, но не умел хорошо делать свое дело. И сердился на всякого, кто, зная дело, исполнял его кое-как. «Вот и жена у меня такая,— нахмурился Белоусов.— Всю-то жизнь ищет чего повыгодней да полегче. Была телятницей — тяжело. Стала дояркой — тоже надсадно. В счетоводы пошла — хлопотно. Теперь — лаборанткой на маслозаводе. Тепло, чисто, начальник спокойный. Легче работу в деревне едва ли найдешь. Так она еще в городе что-то приглядела. И падчерица в нее. Еще нет девятнадцати, а уже наработалась и завклубом, и почтальонкой.

Подходя к своему пятистенку, Василий Михайлович ощутил огромное утомление. Опять он выложился настолько, что в голове, как сигналы из дальней страны, раздавались телефонные звонки, чьи-то вздохи, брань.

— Чуть-то живой!— встретила Серафима, едва он ступил за порог, и тотчас же на пару с дочкой принялись доставать из печи чугуны, кастрюли и плошки, резать пшеничные пироги.

Белоусов ужиная спокойно, было ему уютно, в груди улеглась сладкая слабость. В такие минуты был председатель податливо-добрым, и Серафима любила с ним побеседовать о делах. Делах, разумеется, личных или домашних, от которых, как ей казалось, зависела вся их семейная жизнь. Вот и сейчас, спустив на шею платок, она уселась напротив него, сказала:

— Наладилась завтра в город, денечка на три, а то и четыре. И Светлана со мной. Как один-то ты тут? Ничего?

Василий Михайлович удивился:

— Но у тебя же не отпуск?

— А я за свой счет.

— В городе-то чего?— спросил он.

— Дом купили, дак надо его обиходить.

Белоусов взглянул на румяное, полное, без усталых морщинок лицо жены.

— Четыре дня, говоришь, свободных?

— Могу и боле взять, коли надо.

— Так вот, Серафима, слушай. В городе надо зайти в райком. Поговорить там насчет нашего переезда. Сумеешь?

Белоусов заведомо знал, что жена всполошится, замашет руками, откажется наотрез. Так и случилось.

— Ой, Василей! Ты бы уж лучше сам!

— Могу и сам. Тогда в город поедешь не ты, а я. Согласна?

Серафима расстроилась, завздохала.

— Дак выходит чего— зря и с завода отпросилась?

— Как раз и не зря. Про Евстолию-то знаешь?

— Знаю. В больницу ее увезли...

— Вот-вот. Ее увезли, а коровы остались. Кому их донть?

— Ты что, Василей?— Серафима заносчиво подняла голову, отчего платок развязался на подбородке, и она, поймав его за концы, машинально сделала узел.— Или доярку во мне увидел?

— Выручи, Серафима! Некому, кроме тебя!

Серафиме было как-то неловко и странно видеть в глазах, во всем облике мужа, мявшего негнуцимися пальцами папироску,— беспомощность и какую-то отчаянную просьбу. И душа ее вроде бы приобмякла, оттаяла. Но вдруг в одну секунду все изменилось, и Серафима, краснея от возмущения, выпалила:

— Ты куда меня посылаешь? На ферму? Да я забыла ее! И слава те богу! Не желаю и вспоминать!

— Тогда я пойду доить Евстолино стадо.

Она поняла, что мужик не шутит, закрыла лицо руками, и слезы бессильной бабьей обиды крупно брызнули между пальцев.

— Не жизнь, а истома!

Белоусов кивнул головой и прислушался к шуму чугунных вьюшек. Шум был спокойный, мирный.

### 3

Дорогу уже заливало, и пробраться в райцентр можно было только на тракторе. Тракторист Веня Спасский, парень славный, но трусоватый, уперся:

— Не поеду один! Машину загроблю. Да и чувствую себя худо...

Пришлось в помощь ему выделять человека. Узнав, что поедет с ним Паша Латкин, Веня обрадовался: с Пашей не пропадешь ни в городе, ни в дороге.

Латкин надел фуфайку и шапку, снял с вешалки рюкзачок.

— А мешок-от на кой?— полюбопытствовал Веня.

— Для провианта,— ответил Паша, пихая в рюкзак буханку черного хлеба и пару бутылок из-под вина.

— А склянки?

— Корова-то есть у тебя?

— Ну.

— Молочишка нальем. В дороге все пригодится.

Веня вспомнил про свой замечательный аппетит и про то, что денег в кармане всего два рубля, и загорелся желанием взять с собою еды, по меньшей мере, на четверых.

— Я сала еще прихвачу,— возбужденно сказал он,— вареного мяса. Мати вон рогулек вчера испекла— и их. Да и луку, поди-ко, можно...

Сбегав домой, Веня вернулся оттуда с туго набитым рюкзаком. Залез в кабину и дернул весело за рычаг. Волокуши, как плот, поплыли по жидкому снегу, шлифуя за трактором рубчатый след.

Против конторы трактор остановил Василий Михайлович Белоусов. Паша открыл дверцу.

— Я с вами!— пыхтел Белоусов, забираясь в кабину.

До города двадцать верст. Пока добирались, Спасский раза четыре прикладывался к еде.

— Чего, похудеть боишься?— спросил Белоусов.

— Силу коплю.

Спасский хотел сказать, что он подымает амбарные гири, готовясь стать чемпионом района, но Паша опередил:

— Жениться парень надумал. А без силешки этта пельзя. Без силешки в перву же ночь с коечки полетишь...

— Не ты ли невесту нашел?— обиженно буркнул Веня.

— А что?— улыбнулся Василий Михайлович, но тут же остыл, вспомнив, что их деревушка невестами не богата. Его падчерица Светлана, с которой никто в Сорочьем Поле еще не гулял из-за ее неприступно-гордого нрава, да доярка Маруся. Вспомнил Василий Михайлович, что в каждый праздник из-за Маруси случаются ссоры и драки, в которых Веня обычно не участвует, и намекнул:

— Марусяка чем бы тебе не пара?

Спасский издал невнятный звук, лицо его умилилось.

— Только за эту Марусяку,— продолжал серьезным голосом Белоусов,— надо повоювать. Тут, верно ты говоришь, нужна и силешка.

Веня сидел, не смея пошевелиться. Слова председателя ложились в самое сердце. «А чё,— прикидывал парень в уме,— почему бы не попытать счастья? С ней, пожалуй, никто и не ходит. Разве Борька Углов. А что мне Борька? Неужто этому охломону я уступлю?..»

В город приехали в полдень. Было солнечно и тепло. По дорогам бурлили ручьи. Пахло осиновыми дровами. У деревянного дома с шиферной крышей Белоусов вылез, одернул полы полупальто, шляпу поправил и строго-настрого наказал:

— Вы порасторопней. Как получите — сразу сюда. Сегодня надо успеть обратно.

Трактор двинулся в сторону базы. Спасский сидел взволнованный и сомлевший. В голове созрел увлекательный план. Как только вернутся они в деревню, он приоденется получше, выпьет для храбрости сто пятьдесят — и немедленно в клуб. Увидит Марусю и пригласит на танец, а потом напросится провожать, подхватит ее под ручку, и пойдет, пойдет у них разговор...

База районного отделения «Сельхозтехники» располагалась на склоне реки. Вокруг навесы, будки, сарай и плывущий меж ними по рельсам высокий погрузочный кран. Подогнав трактор поближе к конторе, Спасский выпрыгнул из кабины, достал из кармана шестеро согнутый документ и уверенным шагом поднялся на крыльцо.

В конторе сидел толстый мужчина в пиджаке с помятыми лацканами. Его широкие белые пальцы рылись в конторских скрепках, составляя из них цепочку. Спасский сказал:

— Мне бы кладовщика.

Толстяк опустил цепочку и с любопытством поднял глаза.

— Чего у тебя?

— Да вот. — Спасский подал доверенность.

— «Культиватор, два плуга», — прочитал кладовщик. Потом взял со стола пачку «Примы» и, когда тракторист закурил, посоветовал: — Приезжай лучше завтра!

Веня выронил сигарету, наклонился за ней, сунул в рот горячим концом, передернулся и сказал:

— Во гадство!.. А почему?

Кладовщик с удовольствием объяснил:

— Потому что сегодня выдать не можем.

— Как это?

— Завбазой нет.

— А завтра чего? Он будет с утра? — спросил Спасский со слабой надеждой.

— Может, с утра, а может, с обеда. Все зависит от обстоятельств.

— Каких?

— Да в основном всевозможных.

У Вени даже голос осел.

— Да как когда? Когда приезжать-то лучше?

Кладовщик опять улыбнулся, причем так приятно, так симпатично, будто был очень рад, что отказывал человеку:

— Послезавтра! Если, конечно, он будет на месте.

Обескураженный, вышел Веня за дверь. «Ему добро, — ревниво подумал про Пашу, который на груди тесин ел картофельные рогульки, запивая молоком, — с него взятки гладки. С него никто ничего не спросит. А с меня? Чего председателю я скажу... Ну гадство!..»

Паша его окликнул:

— Вениаминко! Али кто расстроил?

Спасский пробормотал:

— Начальника нет. Велят приезжать послезавтра.

Паша есть перестал, посмотрел на окно деревянной конторы, нахмурился и, сказав: «Попытаю», пошел по мокрой тропе.

— Как насчет нашего дельца?— спросил, закрывая дверь за собой.— Сочиним его или нет?

На круглом белом, как фарфоровый чайник, лице кладовщика отразилось довольство:

— Ты кто? Бригадир?

— Он самый,— слукавил Паша.

Кладовщик правой рукой навивал на левую цепочку из скрепок. Навив, протянул Паше «Приму». Но тот достал из кармана «Шипку». И спички свои достал. Кладовщик улыбнулся.

— Я ведь, кажется, отказал твоему трактористу.

— А может, зря отказал?— улыбнулся и Паша.

— Зава сегодня нет.

— Зато есть заместитель.

Заместитель похлопал ладонями по столу. Мягко этак похлопал, думая, словно что-то взвешивая в уме. Взвесил не в пользу Паши:

— Вы бы лучше сюда послезавтра...

— Можно, конечно, и послезавтра. Но у нас к той поре все прокиснет,— ответил Паша и шлепнул по правой штанине, за которой угадывалась бутылка.

— Хотите меня подпоить? В рабочее время?

Паша подумал: «Ишь, как трудно к тебе подобраться!» А вслух намекнул:

— Можно и после работы.

— Я не о том...

— А я о том, что у нас не вино...

— А что же?— спросил с ухмылкой кладовщик. И Паша внутренне улыбнулся: «Вот и попался ко мне на крючок».

— У нас белое молочко. Три пол-литры в кабине да эта одна.— Паша погладил рукой по карману.

Кладовщик помял зачем-то лацканы пиджака, потянулся, проговорил задумчиво:

— Культиватор, два плуга...— И вдруг в глазах у него мелькнуло нечто похожее на испуг. Он посерьезнел:— Нет, нет, мужики, не могу. Приезжайте лучше с утра...

Паша понял, что проиграл. Перед ним был не опытный плут, за кого он принял вначале кладовщика, а работник, который болеет за дело и, наверное, рад бы помочь, да на это нет у него полномочий.

Раздался звонок. Кладовщик поднял телефонную трубку, и вдруг по его лицу словно бы зарево побежало.

— Да, да,— сказал он взволнованным голосом в трубку,— Елифанов, я самый. Из «Маяка»? Из «Маяка» товарищи здесь. Технику? Нет еще. Не получили... Послезавтра, нет, завтра получают. Сегодня никак. Нет Падышева. Я. Я замещаю. Да в общем-то ничего. Ничего не имею. Так, так. Обеспечить? Прямо сейчас? И доложить?

Кладовщик мгновенно преобразился, стал услужливым, расторопным и едва не под ручку вывел Латкина на крыльцо, откуда скомандовал в сторону крана:

— Селиванов! Эй! Подъезжай к культиваторам! Да живее!

Раз, два — и погрузочный крюк уже подцепил культиватор. За ним — тракторный плуг. Потом — и второй. Волокуши крякнули от поклажи, а Веня Спасский, сняв как именинник, махнул пятерней, приглашая Пашу в кабину.

Кладовщик стоял у груженных саней. На лице — вопросительная улыбка.

— А где у вас молочко? А, бригадир?

— Сейчас!— радостно крикнул Паша и побежал за рюкзаком. Вытащил из него одну за другой поллитровки, поставил на снег.

— Ты что, шутки шутить?! Да я вас сейчас разгрузу. Эй, Селиванов!— крикнул кладовщик, махая перчаткой в сторону крана. Но Паша его перебил:

— Ты, гражданин Елифанов, просил-то чего? Разве не молока? Вот оно! Забирай все четыре! Не бойся! Ут-решнее, еще не закисло! И голова с похмелья не заболит.

#### 4

Белоусов стоял на бровке канавы, узнающе смущенным взором разглядывая калитку, мостки, необжитый дом. Дом был с фронтоном, четыре окна занавешены тюлем, шифер на крыше мерцал, и по нему от холмика снега сбегал ручеек.

Сняв замок, Белоусов прошел по сеним, дернул при-

стывшую дверь. В доме было холодно и пустынно, в углах висела паутина. Белоусов раздвинул все занавески, долго ходил по скрипевшему полу и ощущал, как душу его наполняло что-то давно забытое, напоминающее, что он, Василий Михайлович Белоусов, родился все-таки не в деревне. Действительно, детство свое и юность провел он в таком же маленьком городке и жил в нем, пока не закончил учебу. С тех пор вся жизнь у него идет по-деревенски: квартирует по пятистенкам, держит стайку овец, корову, по субботам моется в бане, изредка выбирается в клуб и только в дни праздников и собраний надевает новый костюм. От всего городского остались только воспоминания. Они-то сейчас Белоусова и смутили. Перед рассеянным взором его явились домики с окнами на реку, прогулки на лодке, треугольнички дальних костров... И вот на закате мужицкого века все это снова стало возможным.

— Однако пора,— вслух сказал Белоусов, вспомнив, что надо зайти в райком, чтобы услышать «добро» на свой переезд из колхоза в город.

Шел Белоусов по деревянным мосткам и как бы видел себя. Видел глазами встречных прохожих здешним, своим, навсегда городским человеком, у которого есть спокойная служба, собственный дом и свободное от работы время, когда он волен засесть за хорошую книгу, выбраться на рыбалку или просто погулять. Размечтавшись, он едва не прошел мимо белого здания с чисто выметенным крыльцом.

Всякий раз, заходя в райком партии, Василий Михайлович чувствовал себя как-то неловко. И сейчас он немного приобел. Дежурный в черном костюме, бегущие вверх меж широких перил мраморные ступени, белый с люстрами потолок — все здесь было внушительным и солидным. И мелькавшие из дверей в двери чисто выбритые мужчины тоже казались какими-то значительными...

— Сам «Маяк» к нам пожаловал! — назвал Холмогоров колхоз, которым руководил Белоусов. — Просить чего? Хлопотать?

Улыбка секретаря, приветливый жест, веселый приятельский голос успокоили Белоусова.

— Я, Юрий Степанович, решил немного разбогатеть, — заговорил он. — Приехал за культиватором и плугами. Да не знаю, сумеем ли получить. На базе веч-



но какие-нибудь задержки. А нам вертаться надо сегодня. Иначе дорога не пустит.

— Ну, это мы живо!— сказал Холмогоров и, энергично сняв телефонную трубку, набрал нужный номер.— Кто? Епифанов? Товарищи из «Маяка» у тебя? Понятно. Опять волокиту разводишь? Немедленно обеспечить! Лично мне доложить!

Секретарь положил трубку и улыбнулся улыбкою человека, который привык выручать людей.

— Ну, а как твое личное настроение? Не передумал с колхозом-то расставаться?

Василий Михайлович, опуская глаза, виновато промолвил:

— Устал, Юрий Степанович.

— А замену себе подобрал?

Белоусов назвал зоотехника Хромова.

— Ну что ж, не буду вставать тебе поперек дороги. А работать ко мне пойдешь? А, друг Белоусов? В общий отдел?

— Вот до отчетного доживем,— ответил уклончиво Белоусов и уже из дверей, окинув преданным взглядом хозяйша кабинета, добавил:— А в общем-то, Юрий Степанович, с вами работать — честь для меня большая, и надо до этого дорасти. Сумею ли я?

— Сумеешь,— ответил уверенно Холмогоров.

## 5

Посреди деревни, где лет сорок тому назад стояли массивные пятистенки с коньками на крышах и крыльцами на два взъема, где долгое время цвела лебеда, в прошлом году хорошо поработал бульдозер, вырыв ножом котлован. Сейчас в этом месте дремал под солнцем налитый вровень с берегами пруд. Пастух Паша Латкин в сером заношенном пиджаке, надетом на вязаный свитер, ходил по берегу с барабанкой, рассыная на несколько верст деревянную дробь. Из полых ворот скотного двора валом валили коровы.

Земля дышала сырым ознобом, но всюду, где льнул к ней припек, кустилась трава, к которой мыча торопилась скотина. Возле пруда, где стоял никому ненужный забор, коровы ступали грудно и тесно. За стадом шли доярки. И зоотехник Хромов среди них.

— По такому ходу недолго и до беды!— ворчал он.—

Вы, бабы, коров не очень-то погоняйте! А то кувырнется которая в пруд — кто вам будет ее доставать?

Но бабам важно было с налету, с бою прогнать коров мимо мутной воды и грязи. Скотина ревела, толкалась на месте.

— Я кому говорю?!— крикнул Хромов.

На голос его повернулся бык с широко расставленными рогами, загородив и без того узкий прогон, и белая легонькая коровенка задробила копытами по откосу, заскользила и опрокинулась в воду.

Зоотехник сорвал с головы широкую кепку, сжал ее в кулаке и тоном человека, который заранее знает, что, где и когда случится, зычно закричал:

— А? Что? Я ль не предупреждал? Чья корова?

Евстоля Гудкова в коричневых лыжных штанах и халате, застегнутом на булавку, скользя ногами по глине, подбежала к воде:

— Майя! Маечка! Ить потонешь! Ну-ко сюда! Ну-ко давай! К бережку! Эко ты, недотепа! Куда? Куда же ты, Майя-а-а?

— Твоя?— спросил утвердительно Хромов.

— Моя,— отмахнулась Гудкова.— Чего тебе?

— Того, что надо было глядеть!

Евстоля подобрала валявшуюся в ногах веревку, сделала петлю, метнула ее на рога, но промахнулась. Ее круглое, как мытая брюковинка, лицо покраснело от обиды.

— Ты, Олег Миколаич, не по адресу обратился! Доярка где за коровой дозорит? На ферме! А на воле пусть дозорит за ней пастух.

Не терпел зоотехник подсказок, но в этой он уловил здравый смысл и потому потребовал с раздражением:

— Пастух! Где пастух?

Латкин, чуя неладное, сам прибежал на крики. Черными, остренькими глазами ястребино обвел белевшую на воде рогатую морду, оторопелые лица доярок и зоотехника с кепкой в руке.

Зоотехник топнул ногой.

— У хорошего пастуха коровы небось не тонут. А у тебя?

Паша растерянно замигал, уловив злое предупреждение.

— А у меня кто утонул? Эта, что ль? Дак вроде еще живая.

Зоотехник стал красен. Ему показалось, что Латкин смеется над ним.

— Ты мне придурка не строй! Утонет корова — все лето будешь работать бесплатно!

Пастух оскорбленно заозирался, словно ища того, кто мог бы за него заступиться. Но доярки точно воды в рот набрали, а подошедший Баронов мял свои толстые пальцы и расстроено бормотал: «Ох ты, нелегкая, ох ты, беда!..» — Паша пожалел самого себя. Но еще более пожалел он корову, которая вдруг утробно и жалобно прокричала. Пора было что-то делать...

Зоотехник, доярки и бригадир смотрели, как Латкин снимал литые длинные сапоги, брюки и вязаный свитер. Остался в маечке и кальсонах. Подумал — и маечку снял, выхватил у Евстоля конец веревки и, разбежавшись, отчаянно бросился в пруд. Бешено колотя руками, он кое-как подобрался к морде коровы и, трясаясь от продравшего до костей холода, накинул петлю на рог.

За веревку тянули доярки и бригадир, зоотехник стоял в стороне. Корова с грехом пополам выбралась на откос, а Паша отстал, протянул зоотехнику руку.

— Пособи!

Не торопясь, с недовольной гримасой Хромов присел, поймал сырую ладонь Пашы, ойкнул и, едва не подмяв пастуха, рухнул в пруд.

Напугаться он не успел. Зато успел возмутиться. И был он в эту минуту так несуразен и так смешон, что доярки стали зажимать рты, чтобы не захохотать во весь голос. А Паша, успевший подняться на бережок, удивленно спросил:

— И как это вышло, не понимаю? Наверно, ты, Миколаич, приоскользнулся?

Хромов выбрался из пруда, посмотрел на Пашу не прощающим взглядом и, ничего не сказав, направился к дому.

И Паша, надев одежонку, затрусил было в деревню, однако Баронов остановил:

— Ты чего это? А кто коров-то будет пасти?

Латкину было холодно, зубы стучали так, что он еле промолвил:

— Кто-нибудь, но не я. Али не видишь — весь околел? Баронов взмолился:

— Паша! Будь другом!

Но Паша слушать его не стал.

Бригадир заскочил в контору, пошел председателя и сказал:

— Михайлыч! Коров выгнали в прогон, а некому и пасти!

— А где пастух?

— Вон! — бригадир показал на окно, за которым Василий Михайлович разглядел Латкина. Председатель поспешил на улицу.

— Это куда?

Латкин съезжился.

— Греться!

Председатель поднял руку и рыжеватыми длинными пальцами взворошил волосы на затылке.

— Пошли! — сказал. Он взял Пашу под локоть и повел его к своему пятистенку. — Лучше я сам тебя обогрею! А ты, бригадир, — обернулся он к Баронову, — пока за коровами последи!

В доме у председателя не было никого, и хозяин распорядился скоро. Принес трусы и брюки. Латкин бы и надел их, да трусы оказались настолько велики, что в них мог бы поместиться еще один человек. Белоусов принес другие. Паше они подошли. Правда, смутили его резинки: не одна, как у обычных трусов, а три. Поглядев на хозяина с подозрением, Латкин спросил:

— Бабы?

— Ну и что! Под брюками кто-то видит.

Брюки тоже оказались огромными, но Василий Михайлович подал обрывок шпагата.

— Подвжись. Под пиджаком и не знать...

Облачился Паша в сухую одежду, выпил остаток в бутылке и, закусив, поспешил на выгон.

Белоусов глядел на узкую спину тщедушного пастуха и думал: «Пошел человек на работу... А мог бы и не пойти. Мог бы даже с расстройства напиться и пришлось бы тогда его наказывать, хотя после этого он бы остался таким, каким и был, только обиделся бы и натворил еще что-нибудь. А сейчас все ладно». Белоусов считал, что в Сорочьем Поле худых людей нет. Есть лишь уставшие. Кто-то устал от самой работы, кто-то от ссор и скандалов с женой, кто-то от дерзкой надежды жить независимее и богаче, кто-то от мысли, что он работает хорошо, а его почему-то не замечают... Уставшим надо помогать, полагал Белоусов.

В кабинет Василий Михайлович возвратился доволь-

ным. Он верил, что дальше будет лучше: и работа пойдет спокойно, и люди станут друг к другу добрей.

## 6

В урочищах темной, как деготь, реки Песьей Деньги — чернолесье, ивняк да мелкие полянки. По этим-то луговинкам и водит Паша коров. Это с утра, когда скотина быстра на ногу и голодна. А к вечеру, когда поднаестся и станет ленива, приведет ее на Игнатьевский выгон, где место открыто на несколько верст и где растет в изобилии белая полевица.

После обеда к Паше обычно сбегаются ребятишки. Заслышат дуду, которой он заменил не совсем удобную барабанку, и спешат. Прибегут, окружают галдящей стайкой, и кто-нибудь обязательно скажет:

— Вот и мы, дя Паша! Ждал?

— А как же, точена мышь! — ответит пастух. — Вон семейка-то у меня. Все к деревьяцам норовит. А нагинать-то их рук не хватает.

Пойдет пастух впереди по сквозным зеленым прогалам. И ребятишки за ним. Рады облазить все осинки. Скотина довольна. Хрустит молодой листвой.

Чтобы не растерять стадо, Латкин время от времени достаёт из-за длинного голенища дуду. Дует в нее, сочиняя нехитрую песенку-забавушку. Скачет песенка с ветки на ветку, раздаётся по рощам и кустам, извещая стадо о сборе. Пареньки, умаявшись на деревьях, тоже спешат на залиvistый зов. Русоволосые, с голубыми глазами, в простой и легонькой одежонке, они бегут по желтым от хвойных иголок тропинкам, как беспечные, бойкие ветерки, которым дана безмятежная воля. А Паша возле ворчащего, как старичок, ручейка запалит костер, скинет с ног тяжелые сапоги, прикурит от уголька и, вытащив из огня накаленный докрасна провод, начнет прожигать в батожке дыру.

Тепло и покойно вокруг. В прохладе теней лежит присмирившее стадо. Сквозь навись листвы дрожит синева, в которой летают желтенькие овсянки. Никуда бы, кажется, не ушел отсюда — все сидел и сидел бы, внимая звукам и запахам луговины.

Сегодня, как и вчера, у костра ватажка ребят. Каждому хочется знать, для кого же из них дядя Паля готовит дуду. Сидят на корточках возле огня, пекут кар-

тошку и смотрят па узловатые руки, в которых мелькают то огненный провод, то нож, то искрасна-бурая заготовка.

Чует Паша ребячьи взгляды. Чует и то, как кто-то стоит за ближней ольхой, выжидающе долго стоит и смиренным и ласковым взглядом осторожно следит за ним. Смахнув с живота ольховую стружку, пастух буровит глазами лес.

— Ну-ко, Васька!— кричит бригадирову сыну.— Загони Рыжуху назад!

Толстопятый, веснушчатый Васька в кепке с надломленным козырьком кидается было в лес, но Паша ему вдогонку:

— Да вицу, вицу сломай! А то Мартику недолго тебя и на рожки! На рожках-то не бывал?

— Не, — признается Васька.

— Это поправимо! Быков-то всяко ведь не боиссе?

Васька запнулся на ровном месте, встал, как столб на меже, ковыряет сандалиной травку.

— Не боюсь небодучих,— говорит, обернувшись к костру,— а этот воно какой...

— А ты видел его?— Паша встает, шурша по траве, подходит к кусту и подымает оттуда крохотного теленка. — Вот он наш Мартик! Не грозен?

Ребятишки, хихикая, смотрят, как Васька, отбросив ненужную вицу, храбро бежит в березняк и выгоняет оттуда корову.

Стало прохладно. Заныли тоскливые комары. Лютики возле ручья зашевелили легкими лепестками, собирая их в крошечные желтые кулачки. Паша, взглянув на часы, велит ребятишкам тушить костер. Дуда почти готова. Прожжена в сердцевине дыра, нарезаны альтовые насечки.

— Кому?

— Мне!!!— разносится по опушке.

Паша задумался, проследил, как мимо него летел синий жук, но столкнулся с травинкой и, словно с обрыва, спикировал и зарылся в коровью коврижку. Пастух объявил:

— Загану вам загадку! Кто отгадает — того и будет! Летит по-птичьи, говорит по-бычьи, на землю падет — по колено войдет?

Никто и подумать еще не успел, а бригадиров сын уже выпалил:

— Жу-ук!

Латкин встал с березовой плашки и, подав бригадирову сыну дуду, спросил:

— Знал, поди-ко, загадку-то, а?

Загорелое, в конопушках, с задорным носом Васкино лицо засияло гордостью.

— Не! Я зоркий! Я видел, как он пролетел и упал. Точь-в-точь как в загадке...

— Ладно, точена мышь,— остановил его Латкин. Подымай теперь нашу семейку.

Но дуда не слушается Васки. Паренек дует так, что щекам больно, а вместо звуков— урканье да шипенье. Возвращая Паше дуду, он заявляет:

— Она недоделана— дырка тонка.

— Неужто тонка?

— Тонка!

— А может, Васильюшко, тонка-то не дырка, а что?— сверкает Паша глазами, переводя их с Васки на других сорванцов.

— Кишка!!!— раздается на всю луговину.

Васька краснеет, хочет как-то поправить свою оплошность, но о нем уже позабыли. Облепив пастуха, ребята веселой стайкой идут Игнатьевским выгоном и слушают, слушают, как дядя Паля на новой дудке выводит мотив неслыханной песни.

— Дя Паля!— кричат ему вперебой.— Ты чего такое забавненькое свистел?

— «Чижика»,— объясняет пастух,— песенка есть такая. Спеть вам, что ли?

— Спой! Спой!

От поскотины до деревни минут тридцать ходьбы. Пока шли, разучили ребята всю песню, и так понравилась она им, что пели ее целый вечер.

Чижик, чирик, где ты был?

— Да на болоте воду пил.

Да выпил рюмку, выпил две—

Да зашумело в голове.

Стали чирика ловить

Да стали в клетку садить.

Чижик в клетку не хотел

Да встрепенулся, улетел,

Да развеселую запел.

...Если бы Латкин знал, какие последствия вызовет песня, то он бы ее и не начал. Но разве мог он подумать, что «Чижика» будет слушать директор школы Колошеницын, человек хотя и скромный, но строгий, кого крестьяне Сорочьего Поля немножко боялись и уважали,— слушать, сидя за книгой возле распахнутого окна, и возмущенно покачивать головой: «Да разве так можно? А если об этом узнают в районе? Образцовая школа. С учебой все так поставлено, с дисциплиной...»

Наутро Колошеницын принял срочные меры. Всех, кто пел, одного за другим вызвал к себе в кабинет и строго-настрого предупредил:

— Чтобы это было в последний раз!

Узнав, кто научил ребят этой песне, Колошеницын явился в контору сказать Белоусову, чтобы тот хорошенько пробрал пастуха. Председателю было не до проборок. Вот уже целый месяц среди множества прочих дел он ломал свою голову над вопросом, как бы сколотить бригаду для постройки комплексного двора. Строили этот двор в прошлом году заезжие молдаване, да вышла задержка с довозкой шифера и стекла. Строители были готовы и подождать, но с условием, чтобы колхоз оплатил им простой по среднесдельной. Василий Михайлович отказался и этим лишил стройку рабочих рук.

Слушая жалобу на пастуха, Белоусов глядел на директора школы тупо и отвлеченно. Колошеницын сидел перед ним в неношеном, будто только что снятом с плечиков сером костюме, немного полный, немного румяный, с полотняной кепкой в руке, и наставительным голосом убеждал:

— Вы уж ему внушите, что не каждую песню можно на улицу выносить. Там про рюмочки всякие... И это детворе!

Белоусов любил извлекать из беседы какую-нибудь да пользу и теперь, не видя ее, слушал директора с легкой досадой. У него срывается стройка, надо срочно искать людей, а тут сиди и лови ушами всякую мелочь, а потом принимай меры, воспитывай. Чтоб не очень затягивать разговор, Василий Михайлович пообещал:

— Ладно, ладно, с пастухом я сегодня же разберусь.

Белоусов увидел, с каким достоинством, не спеша, поднялся Колошеницын, как натянул на голову кепку, держа ее за белый коротенький козырек. И тут Василий



Михайлович спохватился, в голове мелькнуло соображение, и он взглянул на директора с интересом:

— Вы бы, Андрей Андреевич, тоже могли мне помочь!

Колошеницын растерянно улыбнулся.

— Я? Со всем удовольствием! Только чем?

— У вас ведь мастером по труду Корюкаев?

— Да.

— Так он же умеет крыть крыши, и окна стеклить, и столярить!

— И что?

— Уговорите его поработать у нас на строительстве фермы. Вместе с ребятами старших классов. А?

Колошеницын повеселел. Он был патриотом своей восьмилетки и очень гордился, что школа его считается образцовой в дисциплине и в учебе. А теперь может стать образцовой и в труде!

— А что? Это, пожалуй, идея!— сказал он с вдохновением.— И уговаривать даже не буду, а настою! Корюкаев с группой ребят возводит в колхозе молочный комплекс! Это ж для школы большущая честь! Это ж так сейчас современно! Ну, Василий Михайлович, спасибо вам за идею! Только не забудьте про пастуха.

Про пастуха Василий Михайлович не забыл. В этот же вечер отправился к Паше. Зайдя в Пашин дом, постарался придать лицу скорбное выражение.

— Садися, Василий Михайлович, в ногах правды нет!— встретил его хозяин.

— Ничего, я постою.

Паша сочувственно посмотрел на мокрую шляпу, блестящий плащ и лужицу под ногами.

— Дождит?

— Дождит, — ответил Василий Михайлович, хотя мог бы не отвечать, потому что Латкин сидел у раскрытых створок окна, в которое врывались косые подстрешные всплески.

Лицо у Пашин было сырым: только что с пастбища возвратился. Его брезентовый плащ сушился на голбце. Кивнув головой на стол с двумя пол-литровыми банками молока, буханкой хлеба и палкой ливерной колбасы, Латкин сказал:

— Поужнаем, может, вместе?

Василий Михайлович отказался:

— Нет, нет. Я, собственно, на два слова. Думаю, мы по-хорошему договоримся.

— Об чем?

— О том, чтобы не было больше того, что случилось вчера.

Паша провел ладонью по мокрым кольцам волос.

— Вчера, кажись, ничего не случилось.

— Это для нас с тобой не случилось, но для директора школы, учителей... Зачем ты, Паша, поешь при ребятах такие песни?

— Я не знаю.— Паша вдруг почувствовал необходимость немедленно оправдаться.— Песня вроде как песня, веселая даже, ни одного худого словечка.

Белоусов качнул головой, и с полей капроновой шляпы посыпался дождь.

— И все же, Паша, возьми себя в руки. Не впервые я слышу жалобы на тебя.

— Не даю гарантию. И завтра могут прийти ребята. Али мне с ними как бука?

— В крайность-то не впадай. Я ведь только о песне просил. Не надо, чтоб пели ее ребята.

Уходил Белоусов от пастуха виновато, грустно. Дома у него — никого. Серафима, взяв отпуск, уехала с дочкой в город. Там и живут. Светлана даже устроилась на работу.

Василий Михайлович закурил. Показалось ему, что купленный в городе дом может нарушить всю семейную жизнь.

Обстоятельства принуждали его сделать выбор: уехать в город или остаться. Уехать, стало быть, бросить тех, кто верит в него. Остаться — усложнить отношения с Серафимой и, может быть, дать ей повод порвать с ним. Такое было бы невыносимо. На склоне лет оказаться одиноким... Это ж трагедия, беда! И такой покинутостью повеяло вдруг в комнате, что Василий Михайлович круто задумался о себе. Задумался, как об оставленном всеми маленьком человеке.

Он выключил свет и взгляделся в окно, которое стало черным, лишь слепо мелькали сердитые всплески. Волнение охватило его, когда в пелене дождя почудился ему силуэт живого лица покойной Натальи, первой своей жены. А секунду спустя увидел и сына. Но только вытянул руку, как силуэты отодвинулись от него, ушли в ночную глубину и стали совершенно неразличимыми.

«Скорей бы утро»,— думал Василий Михайлович, укладываясь в постель, и жалел, что не с кем сейчас обмолвиться словом.

Лежал Белоусов под стеганым одеялом, слушал всплески дождя и старался понять, чем же его покорила вторая жена? Вероятно, тем, что была краснощекой, пышной, как отборный пшеничный суслон, говорила мягко и нежно, словно укладывала в постель, и еще умела хорошо готовить. И хотя женился Василий Михайлович три года тому назад, ему все почему-то казалось, что это было недавно, на днях, и он не может никак привыкнуть ни к Серафиме, ни к дочке ее, ни к тому, что обе они аппетитно румяны, любят кино, карты и конфеты и каждое лето мечтают поехать в Москву. «Надо будет их отпустить,— подумал Василий Михайлович, засыпая,— пусть поглазеют...»

## 7

Сегодня, как и вчера, не бегут ребятишки на голос дуды, и Паше без них чуть-чуть грустновато. Да еще донимает забота о Майке, той самой белой корове, которая искупалась в пруду и стала тоскливой. Уж чего только не пробовал Паша, чтобы избавить корову от мук. Но ни настой березовой чаги, ни растирание водкой не помогали. Не зная, что делать дальше, Паша обратился к Хромову.

— Надо корову лечить. Простуженая. Кашляет, как чахоточной человек.

— Надо лечить,— согласился с ним зоотехник.

...В тот же вечер Паша сбегал к ветеринару, который осмотрел корову и озабоченно наказал:

— Беречь от холодной росы, от дождя...

Но дождик случился. И в этот день, и в другой, а в третий высыпал град. Высыпал так обильно, что Игнатьевский выгон весь побелел, и скрип стоял под копытами у коров, и отовсюду веяло холодом и ненастьем.

Зато после парило, и луговина, как после бани, была свежей, чистой, помолодевшей. А после обеда к обмытой дождями земле привалил тяжелый удушливый зной. Коровы совсем уморились.

Особенно худо чувствовала себя Майка. Пастух измучился с ней, подымая с земли то куском пирога, то вицей, то громкой бранью. Корова и рада бы покорить-

ся, да поги слушали плохо, в мутных глазах колебался смертный туман.

Под утро, когда доярки пришли на дойку, Майка лежала с бессильно опущенной головой. Зоотехник приказал прирезать ее. Но Евстоля не подпустила к корове пришедшего с ножом конюха Тимофея, умевшего как никто резать скотину, а Хромову хмуρο сказала:

— Для чё резать-то приказал? Али уж не оживет?

Через час, когда корова совсем опустила голову на пол и бока ее приопали, Олег Николаевич отыскал глазами Евстолю, а потом подошедшего пастуха и сказал:

— А ведь кому-то придется и отвечать.

В ворота фермы желтой рекой вливалось раннее солнце. Хромов шел на него, загораживаясь ладонью. Шел и слышал, как за спиной раздавался ропот доярок. И голос конюха Тимофея слышал, который, кажется, защищался и начинал кого-то бесстрашно ругать. «Уж не меня ли?»— подумал Хромов и цыкнул слюной, попав на вросшее в землю тележное колесо.

Шел седьмой час, но дверь в контору была открыта. Председатель сидел за столом. Сообщив о смерти коровы, зоотехник тоже уселся.

— От простуды, выходит, она?— сказал рассеянно Белоусов.

— Оттого, что пастух водкой ее напоил!

Председатель поставил локоть на стол и навалился щекой на ладонь.

— Невероятно!

— Невероятно, но факт. От этого и подохла.

«На шальное ум есть,— подумал Василий Михайлович о Латкине,— а на дельное, видимо, не хватает...»

— Что будем делать?— спросил зоотехник.

Белоусов вздохнул. Вот он вопрос всех вопросов, который приходится слышать ему каждый день: что будем делать? Он понимал: ему дана власть и надо ею распорядиться так, чтобы колхоз не остался в убытке, человек— в беде. А тут приходилось делать выбор: или Паша, или колхоз... Белоусов пробормотал...

— Штрафовать?

Хромов откинулся к спинке стула.

— Слишком ты мягок, Василий Михайлович. А не лучше ли полную стоимость? Какова цепа корове?

— Нет, так нельзя,— сказал председатель тоном уставшего человека,— так будет слишком жестоко.

Хромов встал, выражая всем своим видом: «Напрасно споришь со мной, председатель, тебе я не уступлю». На лбу Белоусова, образуя крест, пересеклись две продольных и две поперечных морщины. Он понимал, что обижать Хромова нельзя, он может вспыхнуть и написать заявление на расчет.

— Значит, настаиваешь,— сказал уступаяще Белоусов,— чтоб полную стоимость из зарплаты?

— Полную.

«Может быть, он и прав,— думал Василий Михайлович, после того как зоотехник с видом человека, одержавшего в споре верх, ушел.— А если не прав? Вот ведь какая задача... Каждый-то день что-нибудь... А ведь не солнышко я в конце-то концов. Всех не осветишь, кого-нибудь да оставишь в тени...»

Чем дальше Василий Михайлович размышлял, тем сильнее портилось настроение. Он знал многих руководителей, которые считали, что власть заключается прежде всего в умении наводить надлежащий порядок. Для него же власть была чем-то вроде обязательства, взятого перед людьми, сделать для них жизнь такой, к какой они сами стремятся.

— Латкин! Латкин!— сказал вслух Белоусов.— Что же с тобой предпринять? Полтыщи рубликов из зарплаты...

Председатель курил папиросу за папиросой, в голове его, угоревшей от дыма, тонко звенело, и никакое дело не шло на ум. «Надо бы на ферму»,— понял он. Уж очень хотелось, чтобы слух о том, что Паша спаввал водкой корову, не подтвердился.

Спросил чистивших двор доярок, а те как одна:

— Поил!

— Жаль,— сказал Белоусов, остановившись против конюха Тимофея, сдиравшего длинным ножом шкуру с подохшей коровы.— Теперь худенько ему придется.

— Это кому?— спросила Евстоля, поставив скребок к заборке. Паше?

— Ему. Придется наказывать рубельком.

— Василий Михалыч, виноват-то не Паша, а зоотехник! С него и высчитывай!

Доярки кричали наперебой, и понять их было почти невозможно.

— Ладно,— сказал он,— потом разберемся, потом...

Председатель ушел. Доярок это сначала смутило, потом удивило и заставило думать о нем с досадой и неприязнью. Загорелся сыр-бор.

— Ему теперь чё? Ему бы Хромова не забидеть!

— Преемничек, как же!

— Вот оно ноне-то: наши плачут, а ваши пляшут!

— Али за Пашу не постоим?!

— Верно, девки! Пастух рад на работе убиться, а его же и штрафовать?!

— А давайте! Опишем всю правду!

— Надо! Кто грамотней-то у нас?

— Маруська! Ты, гляда, восемь классов кончила? •

— Было дело! Писать-то куда?

— В райком партии, девки! Самому Холмогорову! Уж он шороху наведет!

— Ты, Тимоха, когда в район-то поедешь?

— Сегодня после обеда.

— Ну вот, письмо бысролетиком долетит! Ладно, Тимоха?

— Мне что...

Каково же было смущение Белоусова, когда на другое утро он услышал в телефонной трубке голос первого секретаря:

— Ты что это, друг Белоусов, людей своих обижаешь?

— Как обижаю?

— Я, друг Белоусов, от твоих доярок петицию получил. Пишут, что хочешь оштрафовать пастуха за то, что тот спасал жизнь корове.

— Но корова подохла,— сказал Белоусов неуверенно.

— А пастух тут при чем? Вот зоотехника наказать — это дело! Слышишь?

— Слышу,— сказал Василий Михайлович и осторожно, точно трубка могла раздавить телефон, положил ее в гнездо.

День продолжался с такой же, как и вчера, хозяйственной канителью, звонками из города, хлопаньем двери, в которую заходили то счетовод, то разобиженный Веня Спасский, ожидавший больше недели обещанных запчастей к трактору, то угрюмый Баронов с просьбой снять его с бригадиров.

Сидел Василий Михайлович за столом, уставший-преуставший и, едва запевали петли двери, понуро гадал: «Кого еще песет?»

## 8

В выходные дни и в теплые летние вечера Белоусову скучно в своих хоромах. Жена уволилась с маслозавода, и теперь не поймешь, где чаще она живет, то ли в городе, то ли в деревне. Белоусов попробовал как-то ее пристыдить, так она сказала ему, что может совсем от него уехать. Василий Михайлович затужил, выкурил три папиросы и понял, что дело его худое.

Вскоре его захватила идея. Едва ли не каждое воскресенье стал он бродить с лопатой по склонам ручьев и берегу Песьей Деньги, разыскивая карьер, откуда бы можно было возить на дорогу гравий. «Самим взять и изладить проселок! Нечего ждать»,— решил он. Но для начала надо было найти богатый карьер.

От Вытегры через Вологду на Великий Устюг, умывая землю ливнями и дождями, прошли грозовые тучи. Запахло зеленым и влажным. Попер в рост колосковый пырей. Зацвела по канавам татарская лебеда. Белоусов сбросил брезентовый плащ и ходил налегке— в пиджаке без подкладки и старых полуботинках, какие когда-то носил его сын. Делал в разных местах прикопки. Пока не везло. Но это его не очень и угнетало. Он ходил, отклоняя руками ветки, пропитывался насквозь зеленым духом листвы, грудь дышала свободно, и было ему так хорошо, что он ничего не помнил, растворяясь в просторе летней природы, и как бы заново жил. Жил в переливах ручья под горкой, в сороке с крохотным сорочонком, бойко скакавшим меж лопухов, в чаще деревьев за картофельным полем. Порою он с замиранием сердца смотрел и слушал вокруг себя. Коровы на взгорке, шелест теплого ветерка, жужжанье шмеля над кустиком голубики... Как бы ему хотелось, чтоб было все это и завтра, и послезавтра, не старело, не умирало, не уходило никуда и жило бы здесь постоянно. Но время летело, и Белоусов в каждое новое воскресенье видел в природе резкую перемену. Давно ли гомопили хоры прилетных птиц, подымалась трава, одевались кусты и деревья свежей листвой!.. И вот уже в прохладных вечерах слышны шаги отходящего лета, в зеленые во-

лосы леса вплетается легкая позолота, крестьяне спешат завершить сенокос, луговые стрижи готовятся к дальнему перелету.

На отходе погожего дня любил он пройтись по лесным прогалинам. От белых цветов седмичника, от солнца, продравшегося сквозь хвою, от беспечного посвиста мухоловок было так уютно, и на сердце ложилась сладкая грусть. И почему-то думалось о былом, о тех днях, когда он жил душа в душу с покойной своей Натальей и растил с нею маленького сынка. Жил и не думал о будущем, и было все ладно, все хорошо, любая пища, одежда устраивала его, и работать хотелось много и ненасытно. Теперь он часто ловил себя на этом хорошем и грустном чувстве, чувстве зависти к себе прежнему, каким он больше уже никогда не будет.

Оставляло его это чувство после того, как он возвращался в деревню. Возвращался обычно в тот час, когда навстречу коровам и овцам выходили доярки, старухи и ребятишки. Кто с ломтиком хлеба, кто с вицей, кто с ласковым словом. В вечереющем воздухе раздавалось:

— Ванюшка? Ты где, неварóвый? Воно Уздапка! Поди-ко скорей застань!

— Муранушка-то моя! Охти мне, вся-то искусана! Кто тебя эдак?..

— Мпхайло! Генку мово не видел?

— Он на пруду карасиков ловит!

— Вопо-ка что! Велела коровку загнать, а он...

Не скоро Сорочье Поле угомонится от перезвона колокольцев, от окриков, переключек, от скрипа калиток и отводков, бряканья ведер и сытого радостного мычания. А когда все замолкнет, уйдет под крыши, в подворья и за ворота, на деревню опустится волгая тишина с запахом клевера, дыма и медуницы.

Сегодня Василий Михайлович превозмолен. В часе ходьбы от Сорочьего Поля на сухой вересковой гриве меж Песьей Деньгой и Доровицей он нашел-таки карьер. По примерным его подсчетам гравия здесь получалось так много, что можно будет засыпать им «глинки», самый тяжелый участок дороги, длиной в километр, где несколько раз на неделе застревают грузовики. Спешил председатель домой, думая о колхозе: «Вот дорогу изладим, вот выстроим двор, тут-то мы сплешку и наберем...»



Подходя к своему пятистенку, Белоусов увидел замок, и сердце его томительно сжалось: «Опять уехала».

Остаться дома было тошно, тем более в клубе сегодня концерт, и Белоусов, на скорую руку перекусив, заторопился на волю.

Концерт шел вовсю, и зал, зеленеющий с боков от сдвинутых штор, был неподвижно сосредоточен. Белоусов в поисках места прошел, нагнувшись, в первый ряд, где сидели директор школы с женой, зоотехник и Паша Латкин.

На сцене стояла группа мальчишек с красными звездами на груди, в белых гольфах и белых рубашках, аккуратных, чистых мальчишек. Под звуки баяна они пели «Юных кавалеристов». Белоусов слушал с трогательным вниманием. И когда ребята закончили петь, вместе со всеми захлопал.

Тяжелый бархатный занавес неторопливо поплыл, скрывая сцену от зала. Колхозники ждали. Минуту. Две. Но никто из артистов к ним не спешил. Внезапно со сцены послышался шепот, очень нервный и раздраженный, словно кто-то кого-то ругал и никак не мог наругаться. Наконец простучали шаги. Занавес колыхнулся — и к зрителям вышла Лариса Петровна с высокой прической и белым платочком в руках.

— По непредвиденным обстоятельствам, — сказала она, — в концерте случилась заминка. Так что прошу, дорогие товарищи, минуточку потерпеть! — И только Лариса Петровна хотела юркнуть назад, как кто-то с задних рядов недовольно спросил:

— Где сиди конферасье?

— Нету его, — сказала Лариса Петровна, — вернее, есть, но он неожиданно заболел.

— Это Борька-то заболел? — гаркнул все тот же настойчивый голос. — Да когда он успел? Час назад я видел его в полном здраве!

— А я в здраве и есть! — откликнулся Борька и, распахнув закачавшийся бархат, прорвался сквозь чьи-то руки на кромку эстрады.

Борька был красен. И красен, естественно, от вина, которого выпил перед концертом для храбрости. Лариса Петровна взглянула на зрителей с жалкой улыбкой и поспешила скрыться. А Борька, вспомнив, зачем он тут, сверкнул металлическим зубом и песенным голосом затянул:

— Я куплеты вам спою...— И вдруг испуганно замигал и рот приоткрыл, потому что забыл продолжение.

— Чё затих?— спросил сочувственно Латкин, но спросил слишком громко, и его услышал весь зал.

Борька, имевший привычку злиться по пустякам, глянул на Пашу с остервенением.

— Ты, что ли, меня заменишь?

— Я, не я, а все ж...— слегка стушевался Паша.

— Нет, ты!— улыбнулся Борька кривой улыбкой.— Давай! Приглашаю сюда! Давай!

Паша взглянул на длинные Борькины ноги в лакированных полуботинках, на его голубой эстрадный костюм, специально купленный для концертов, на скуластое заносчивое лицо, на котором сияло злорадство, и понял, что с парнем схлестнулся он зря.

— Долго ждать, Павел Иванович?— потребовал Борька.— Ежели ты не бахвал, так изволь! Во сюда! Покажи, на что способен!

Паша вспотел, встал и неверной походкой направился к сцене. «Куда я вылез? Куда?»— думал он, подходя к куплетисту, который стоял, будто двухкрыжая тумба на берегу, и руки скрестил на груди, выражая всем своим видом презрение к Паше. Понимая, что дальше молчать нелепо, Латкин сказал:

— И чего бы такое? Чего?

— Анекдот травани,— посоветовал Борька.

Паша приободрился.

— Анекдот в общественном месте нельзя,— сказал он, почувствовав в себе ту особо приятную легкость, какая снимает с души напряжение и неловкость.

— Тогда сценку из нашей жизни,— бросил усмешливо Борька, уверенный в том, что Паша эстрадных сборников не читает и, значит, предстанет сейчас перед залом в глупейшем виде.

— Сценку? А что? Это мы можем. Только знаешь чего?— Латкин ткнул пальцем в плоский живот Борьки.— Не путайся под ногами.— Ткнул и внимательно посмотрел, как пятясь, куплетист исчез за бархатом.

Паша, оставшись один, изумил всех своим дерзким проворством, с каким он отвесил низкий поклон.

— Авось и не оплошаем!

— Прекратите!— шепнула стоявшая где-то в невидимом месте Лариса Петровна.

Но Паша входил в игровой азарт, словно вселился

в него какой-то веселый бесик, с которым стало ему легко и беззаботно.

Белоусов почувствовал, как лицо его глупо заулыбалось, тогда как надо было держаться солидно. Он задел зоотехника за рукав. «Во кого надо завклубом-то выдвигать!» Хромов презрительно промолчал, показывая этим, что он с председателем не согласен. Между тем Латкин радостно объявил:

— Возвращение Ларисы Петровны на ферму!— и, присев, начал двигать щепотками пальцев то вверх, то вниз, изображая ручную дойку. Поднявшись, внимательно поглядел на ладони и, испугавшись, что те замарались, стал торопливо их вытирать.

В зале послышался сдавленный смех— так обычно смеются в местах, где надо вести себя сдержанно и прилично. А Латкин, чуя поддержку, совсем осмелел и завывагивал, словно артист, который всю жизнь играл на сцене.

— Бригадир Василий Баронов ищет днем с фонарем... кого?— тонко воскликнул он.

— Доярку!— откликнулся зал, да так дружно, так громогласно, что закачались шторы на окнах, а бригадир, сидевший в заднем ряду, опустил смущенно глаза и стал зачем-то разглядывать руки.

Зал смеялся уже открыто, тут и там блестели глаза и чей-то шмелиный голос настойчиво умолял:

— Давай, Паша! Потешь! Пожалуйста, что-нибудь! Посмешней!

Но Паша одновременно с этим шмелиным баском слышал и злой шепоток, шелестевший сквозь занавес, точно ветка шиповника по рубахе:

— Перестаньте паясничать! Уйдите со сцены! Или будьте серьезными наконец!

И Паша немедленно посерьезнел. Постоял, подождал, пока смех не затихнет, и бросил с вызовом в зал:

— Люблю говорить закомурами! Называйте слово — складу загадку!

По рядам прокатился радостный гул. Кто-то крикнул:

— Луковица!

Латкин думал не больше секунды.

— Сидит Любка в семи юбках, кто ее раздевает, тот слезы проливает.

Доволен зал занятным пачалом. Снова кричат:

— Кольё в огороде!

Паша будто скорлупку сплюнул:

— Два брата одним пояском подпоясались!

Заявки посыпались одна за другой:

— Репа!

— В землю крошка, из земли лепешка.

— Блоха!

— Черненько, маленько, а мужика шевелит.

Совсем колхозникам стало вольготно. Каждому слово охота назвать. Сколько слов — столько загадок.

Белоусов был в отличнейшем настроении. Он ткнул зоотехника в бок. «Во у кого завклубу-то нашему поучиться!» — И спохватился, вспомнив, что Хромов Ларисе Петровне приходится супругом и может, стало быть, рассердиться.

Зоотехник действительно рассердился, и не только на Белоусова, не только на Пашу, но и на тех, кто сейчас задавал вопросы, выкрикивал с мест, сиял глазами и улыбался. И потому он резко поднялся, щелкнув сиденьем так, что самому стало от этого неприятно.

— Мне кажется, — начал он, — пришли мы сюда посмотреть нормальный концерт, а не какие-то кривлянья! — При этих словах зоотехник побагровел и добавил более веско: — За срыв концерта еще нигде никому не прощали. И я считаю...

— Не надо меня считать! — перебил его Паша. — И страшать меня тоже не надо! Коли спросите, почему, то ответу: весел-человеку нече бояться. За весел-человека весь свет стоит!

В зале поднялся смех, шум и топот. Люди вскакивали с сидений, размахивали руками, и каждый спешил что-то громко сказать, хотя никто никого не слушал. «Почище, чем у сорок», — усмехнулся Белоусов. Он был рад, что пришел на концерт, и теперь, выходя на крыльцо, с досадой подумал о том, что слишком рано закончился вечер и надо опять возвращаться домой.

В сумерках улицы смутно виднелись длинные избы, напоминая плывущие по ночной реке молчаливые баржи. Деревья были черны, и каждый лист чутко прислушивался к шагам, глухо шуршавшим в мягких муравах. Над Сорочьим Полем смыкалась ночь, ведя за собой стаи звезд, половинку луны и влажные запахи ближнего луга. Белоусов вдыхал их и чувствовал, как его начинает что-то опять беспокоить. Нечто подобное

он испытывал вчера, и третьего дня, и па прошлой педеле. В затайках души он ощущал кого-то уютного, тихого, кто, казалось, в нем жил с давних пор, не желая с ним расставаться. «Отец или дедко сказывается во мне!»— подумал Василий Михайлович и сильно-сильно заволновался, словно что-то хотел понять. «А может, прадедко?— пробовал он разобраться.— Неужто оттуда, из нежилото, где давно никого не осталось? Отец... Дедко... Прадедко... Ровно они никогда и не помирали, а живут себе и живут, и не будет им смерти, покуда наш род не уйдет в земельку. А с чего уйти-то он должен? Ведь и я отросточек оставил. Худ ли мой сын Алексей! Правда, он в городе. Уехал... А в общем-то парня судить за что? Не за что вовсе. Лишь бы он оставался живой да нашу фамилию продолжал. Ведь и в нем когда-нибудь скажется кровь отцова...»

## 9

Пахнет плодами земли: картошкой в полях, рябиной на ветках, пахнет грибами и рыхлыми копнами хлебной соломы. Куда ни помотришь — всюду золотистые сапоги уходящего по лесным косогорам погожего бабьего лета. Солнце греет ласково и уютно. Чисты и торжественны дали. Громче всех в эти дни мальчишечьи голоса. Рады ребята бруснике в корытах, принесенным из лесу грибам, обозам машин с намолоченным хлебом и, конечно, прохладным осенним листьям, что летят и летят с ослабевших веток берез.

Плодоносное время года. Только успели к нему привыкнуть, только успели его полюбить, как дунули ветры с дождем и горизонт покрылся туманной завесой. Последний раз на дальней опушке мелькнули желтые сапоги, и ушло, убежало от нас бабье лето, уводя за собой говорливые полчища птиц. Курлыканье над рекой, солома в полях, отставший от стада теленок — все окрест охвачено строгим сиротским прощаньем.

Порою сквозь шелест дождя прорвется свисточек дуды. В нем так много июньского солнца, так много беспечного удалства, что начинаешь верить в явление нового лета. Свисточек струится над темно-свинцовыми водами Песьей Деньги, играет на проводах государственной ЛЭП, влетает в проулки Сорочьего Поля, и тот, кто слышит его, ощущает в сердце короткую тихую

грусть, какая бывает, когда с тобой расстается самый близкий тебе человек.

Сегодня дождь перестал, запахло подмерзлой травой. Несколько мелких снежинок вяло кружилось, суля метельную непогоду. Был вечер, хотя и ранний, да сумеречный, с какой-то грустной, чуткой тишиной, когда для потемок еще не открыты двери, но вот-вот откроют их, и все погрузится в долгий осенний мрак.

Василий Михайлович возвращался с карьера, где Вениа Спасский на новом «С-100» крушил деревья и пни, вырывая их из земли и сдвигая к дороге. День прошел, и было что-то прощальное в этом дне. Может быть, потому, что завтра начнется уже зима, а за спиной останется осень, еще одна осень твоей убывающей капля по капле жизни. Белоусов ежился, плащ на нем отвердеет и поскрипывал, как береста. Под сапогами звенела стылая грязь. Вечер казался ему каким-то пустым и огромным, будто покинутый дом, в котором негде и некому ночевать.

В такой же предзимний вечер, с таким же запахом мерзлых отав ступал Белоусов по этому же проселку, провожая в последний путь телегу с гробом своей Натальи. Смерть жены скорее его удивила, чем напугала, и заставила посмотреть на нее неестественно тихое, в голубых полутенях лицо с каким-то внимательным, ужасающим любопытством. Его жена шагнула за ту невидимую, скорбно-таинственную черту, которая разделяет быль и небыль. Она ушла в неживое. И было в этом что-то законченно-важное, не понятное для него. Наталья болела около года и все это время мучилась тем, что не способна больше к работе. В последние дни на ее лице отражался испуг, как если бы очень она боялась не возратить кому-то страшно тяжелый долг. И вот лица ее коснулось успокоение, точно знала она: долг ей прощен и никто о нем уже не напомнит.

Удивление это жило в Белоусове до того момента, пока на вожжах не был опущен гроб. И как только расслышал он шорох глины, сухо посыпавшейся в могилу, им овладела мысль: «А ведь так получится и со мной! Все дороги ведут на погост. Обидно, очень обидно. Не успеешь на свет появиться, как уступай свое место другим».

С погоста Василий Михайлович шел один. После того как поставили крест, закидав его основание хол-

миком глины, он почуял в себе большое бродяжье горе и, не зная как с ним совладать, двинулся в деревню окольным путем, лишь бы только уйти от вздыхавших старух, от одетых в черное баб, от подвыпившего соседа и вообще от людей.

Он шел по темному полю и видел вверху, в прояснившемся небе, алые, будто цветы белокрыльника, звезды. Ему показалось, что звезды прицеливались к земле, чтобы выхватить из жизни тех заведомо обреченных, чья судьба уже решена, и противиться ей не имеет смысла. «Чья теперь очередь?»— думал он и до боли в глазах всматривался вперед, замечая в скошенном поле, голых кустах над межой, пролетавшей с криком вороне то, что было созвучно его душе. В душе же своей он как бы слышал передвижение, словно что-то живое, привычное покидало его, а на смену являлось холодное, светлое и святое. Что же это такое? Промозглый ветер хлестал его по лицу, а ему от этого было не зябко. Он шел вдоль реки и слушал тоскующий ветер, который метался в кустах ивняка и скулил, скулил, словно наслаждаясь своим завыванием.

Неожиданно он услышал:

— Ул-ли... Ул-ли...

Он вздрогнул, и ему представилось, что это душа Натальи, сиротская душа, которая манит его к себе. Он резко прибавил шагу, потом побежал, не отрывая глаз от звездного неба, и вдруг над стынуще-темной рекой разглядел две плывущие тени.

— Ул-ли... Ул-ли...

«Да это же совы!»— понял он. И такая тоска, такая печаль, такой холод его охватили, что он застонал, заскрипел зубами и как древний старик, с трудом переставляя ноги, поплелся в Сорочье Поле.

...И сейчас он также плелся к родному порогу, за которым его ожидали остывшая печь, тишина и глухие потемки.

Но Белоусов ошибся. В доме его горел электрический свет, а на лавке, облокотившись о стол, сидел бригадир.

Когда Белоусов открыл широкую дверь, Баронов не шелохнулся. Казалось, что он что-то давно и беспомощно вспоминает, но вспомнить никак не может. Задала задачу ему Маруська. Ушла со двора, навсегда ушла. Председатель ее отпустил вообще из колхоза. А надо бы

не отпускать. Могла бы замуж-то выйти и дома. Вон сколько парней за ней увивалось. Хоть Борьку Углова взять, хоть Веню Спасского. Всех оставила с носом, уехав в город, потому что дали жениху квартиру. И сегодня у них там играется свадьба.

Вновь, как весной, исходил Василий Иванович всю деревню, потратив на это почти целый день. Уговаривал дочь доярки Гудковой, белолицую полненькую Галлику, поступавшую летом в пединститут, по вскоре со слезами на глазах вернувшуюся обратно.

— А к экзаменам кто за меня готовится будет?— защищалась Галлика.

Баронов напомнил:

— Но ведь ты их сдавала?

— Ну дак и что! Нынче с первого разу попробуй-ко поступи.

Попытался Василий Иванович призвать на помощь Евстолию. Но та посмотрела на бригадира с недоумением.

— Ее — в доярки? Руки-то изводить? Нет уж, Василий! Хватит с нашей семейки на эту работу одной меня! Понщи-ко в другом местечке!

С кем только Баронов не вел разговор! И с румяной, как девушка, пенсионеркой Гладковой, и с долговязой солдаткой Спмой, и с почтальонкой, и даже с техничкой конторы.

Перед избой матери-героини Баронов долго топтался, но все же зашел. Еще из сеней слышал топот маленьких ног, визг, плач и хохот.

Пелагея с рыжей взлохмаченной головой сидела на лавке, качала ногой орущего в зыбке сынка и резала хлеб. Двое парнишек с воинственным криком скакали верхом на палках. Двое других, чуть постарше, разбирали клещами будильник, желая вернуть ему жизнь. Девочки — кто умывал из крички тряпичную куклу, кто играл в продавца и покупателя, кто готовил уроки. На вошедшего бригадира никто и внимания не обратил. Лишь когда он чихнул, Пелагея встрепенулась:

— Тихо, гудки!

— Я опять сватать тебя в доярки!— сказал Баронов без всякой надежды.

Пелагея поймала скакавшего возле стола восьмилетнего сына, посадила рядом, надела ему на ботинок качальную петлю.



— Качай, батюшко! Нече те с батогом носиться!— и, встретясь с безрадостным взглядом пришельца, спросила:

— Когда идти-то?

— Да хоть бы завтра, с утра.

— А чего! И пойду! Отдохну хоть от этих... Ишь, орут, ровно ножами пытаются... Вот только бы няньку найти, пошла бы с милой душой...

Постоял, почесал бригадир затылок под шапкой, сдвигая ее на лоб, а когда Пелагея снова уселась за зыбку, сказал:

— А ежели няньку найду? Пойдешь?

Пелагея перекрестилась:

— Господи! Я да чтоб омманула?!

Но няньку в Сорочьем Поле так же трудно было найти, как и доярку. Сунулся было Баронов к двум более-менее добрым старушкам, так сразу и понял, что не по адресу.

Не зная, что делать, куда пойти, зашел в председательский дом.

— Доярку ищу вот,— промолвил на всякий случай. Председатель насторожился.

— Уж не мою ли Симку?

— А где она? В городе?

— В городе.

— Жаль,— сказал Василий Иванович.

В неуверенном голосе бригадира, приморенном его лице и руках, нервно сжимавших шапку, Белоусов вдруг почувствовал смятение, бессилie и заботу. И в душе у него как бы схлестнулись друг с другом жалость к хорошему мужику и досада на него, так как пришел он причинять неприятность. Белоусов сидел, упорно уставясь в огонь, плясавший на золотисто-рыжих поленьях.

— Ладно,— сказал так, будто ему все на свете осточертело,— найду я тебе доярку.

И в этот же вечер пошел к зоотехнику и сказал:

— Нету на ферме доярки. Ты знаешь об этом?

Олег Николаевич улыбнулся насмешливо и любезно:

— Знаю, но ты ее, кажется, отпустил. Не отпустил бы, и не было бы проблемы.

Белоусов вздохнул, и сердце его дрогнуло от мысли, что зря, пожалуй, сюда и пришел.

— Я не могу лишать девушку личного счастья.

— А я тут при чем?— опять улыбнулся Хромов, переглянувшись при этом с женой, сидевшей перед телевизором на диване.

— Будь человеком,— сказал уходя Белоусов. Сказал в надежде на то, что Хромов проявит мужской характер и настоит на том, чтоб Лариса Петровна вышла утром на скотный двор.

Однако утром вышла на двор не Лариса Петровна, а дочка Евстоьи Гудковой — белолицая, полненькая Галинка.

## 10

Василий Михайлович был подавлен. Промозглые дни то с дождем, то с крошевом снега донимали его. В доме мертвящая скука. Она безглазо глядела отовсюду. Имел ли хозяин пол, готовил ли ужин, ставил ли самовар — за всяким делом он с нетерпением ожидал, не скрипнет ли дверь, не застопут ли половицы, не войдет ли в дом живая душа. И, не дождавшись, сидел на лавку и тускло смотрел сквозь стекло на проулок с березами и домами, подмороженной грязью в колеях и тощими кольями прясел, сиротливо и сонно бредущими за деревню. Глядя на эту картину, он угрюмел от мысли, что жизнь его стала какой-то двойной, словно в нем поселились два человека. Один — открытый и добродушный, другой — замкнутый и понурый. И жили они, казалось, посменно: открытый — в дневные часы, при народе, понурый — в вечерние и ночные, когда рядом не было никого. И просились на язык слова: «Не могу я тут боле. Поеду...»

«Может, к Паше зайти...» — вдруг подумалось ему..

Далеко разнеслась слава о доме холостяка и весельчака Паши Латкина. К нему ведут всех. На одну ночевку обычно приходят сильно уставшие шоферы, трактористы дальних колхозов, командированные, туристы. Подступят к Паше с вопросом, можно ли почевать. А тому когда и чего было жаль? «Ночлег с собою не носят,— скажет в ответ,— давайте располагайтесь». — И покажет на выбор: полати, лавку-продольницу, русскую печь, кованый сундук, однолежую койку.

Зимой же и ранней весной гостями Паши бывают однодеревенцы. Что ни вечер, то целый табун мужиков.

Вольготно им тут. Можно в карты сыграть. Можно затеять душеспасительный разговор. Хозяину чем люднее, тем веселее. Сидит на лавке возле окна или лежит на полатах, курчавый и остроплечий, и слушает с ласковым любопытством, о чем толкует народ, а то и сам нырнет в разговор да так затейливо, так лукаво, что мужики как один заухмыляются и станут ждать веселой минуты. И эта минута случится. И тогда по обеим комнатам дома покатится мощный мужицкий смех, от которого будут постанывать стекла, а поздний прохожий станет озираться с тревогой по сторонам, не понимая, откуда такие звуки и можно ли их не бояться.

Находят у Паши уют и постоянные квартиранты, которых определяет к нему на постой сельсовет или контора колхоза. За два последние года кто только здесь не жывал! То семейство цыган, решивших начать трудовую жизнь почему-то с Сорочьего Поля, то прибывшие с юга строители скотных дворов, то бригада меллираторов из райцентра, то какой-нибудь практикант...

Сейчас у Паши квартирует будущий бухгалтер Шура Мунии. Днем и тот и другой на работе. Шура в конторе среди накладных, нарядов и табелей, а Паша на разнорабочий: сегодня силос подвозит к ферме, завтра корчует пни на карьере, послезавтра едет в лес.

Вечерами оба дома. Шура или лежит на голбце или глазает в телевизор. А Паша старается по хозяйству.

Старинные, с медной гирей часы стучат и стучат, отбивая за часом час, за сутками сутки. Событий в Сорочьем Поле пока никаких. Но скоро, кажется, будут. В субботу в два часа дня в большом зале клуба начнется отчетно-выборное собрание.

Собрание только что началось, но казалось, что идет оно целый день и не кончится долго-долго. Наверное, такое ощущение вызвал у сидевших в зале отчетный доклад. Белоусов имел подавленный вид, голос его звучал вяло. Он и сам понимал, что выглядит слишком уж худо. Читая, он как бы видел себя из зала. Видел стоящего за трибуной носатого скучного человека, который всех утомил и еще собирается утомлять, потому что прочитана лишь половина доклада. Иногда па лицо его набегала смутная дума. Ведь это последний его

доклад. Отчитает его — и от всех председательских дел станет навсегда свободен. И все в колхозе будет делаться без него: и разработка карьера, откуда вот-вот повезут для дороги гравий, и монтаж оборудования на ферме, да многое и другое, к чему Белоусов не будет уже иметь никакого отношения.

Закончив читать, Василий Михайлович вдруг покраснел и сказал, обращаясь к колхозникам не по бумажке:

— А теперь, дорогие товарищи, большая к вам просьба. Войдите в мое положение. Тридцать лет хожу в председателях. Поустал. Надо дать перед пенсией и отдышку.

Сказал и просительно улыбнулся, глядя в заколы-хавшийся зал, откуда послышался бурный шепот, а потом и отдельные голоса:

— А чё? Кажись, заслужил! С богом!

— Пушай в городе поживет, не все в деревушке!

Сжимая под мышкой листы доклада, Белоусов прошел в пустующий первый ряд, где одиноко и гордо сидел Олег Николаевич Хромов. Зоотехник пожал ему руку, сказав: «Знатно выступил, всех задел за живое». Белоусов ему не поверил. «Задел тебя за живое не мой доклад, а просьбница после доклада», — подумал Василий Михайлович и посмотрел на длинный, покрытый зеленой материей стол, за которым сидели приехавший из райцентра плечистый бритоголовый Дубров, писавшая протокол Лариса Петровна и выбираемый каждый раз председателем общих собраний горластый бухгалтер Горшков.

— Слово для второго доклада имеет заместитель председателя ревизионной комиссии Федор Федорович Седякин, — объявил Горшков.

Зал проводил глазами угловато-широкого ревизора, который достал из футляра очки, надел их и вдруг стремительно, без передышки заговорил, и с тоненьких губ его полетели фамилии, цифры, названия дебетов, кредитов и балансов. Отговорив, Седякин захлопнул скоросшиватель, спрятал в футляр очки и с видом по меньшей мере работника райисполкома солидно и важно вернулся в зал. Тотчас же его сменил одетый в синий китель и синие галифе секретарь парткома Иван Тимофеевич Бутаков, человек, известный всему району способностью уговаривать школьников оставаться работать

дома. И сейчас говорил он об этом, призывая сорокопольцев держать тесную связь с выпускным классом школы. Затем вышел к трибуне Василий Баронов. За ним — тракторист Вениа Спасский.

Белоусов сидел с напряженно бьющимся сердцем, ощущая себя среди громких речей каким-то временным человеком, кого дела и заботы колхоза теперь касаются все меньше и меньше. Заглядывая мысленно вперед, он гадал, где отныне ему работать. В райкоме партии? Райисполкоме? И вдруг Белоусов похолодел, расслышав то, что никак не думал услышать. Он вскинул глаза па трибуну, за которой стоял председатель райисполкома и обвиняющим тоном говорил:

— Работать ли Хромову в вашем колхозе — это еще вопрос. Погубить корову в начале пастбищного сезона — это, товарищи, никуда не годится! Это, я бы сказал, халатность, а может, и произвол! А отношения с животноводами! А если товарищ Хромов и дальше так будет к своим обязанностям относиться?

Вопрос повис в воздухе, как угроза, к которой меньше всего были готовы председатель и зоотехник. Хромов сидел, вспотевший и красный. Не лучше выглядел и Белоусов: мочально-желтые волосы в беспорядке, кожу на лбу рассекли морщины недоумения. «Как же так? Как же?» — думал потерянно председатель и с досадою вспоминал, что все повторяется: так же было и па прошлом отчетном. Белоусов перепугался: «Но ведь так не должно!» Он вскинул руку и неожиданно для себя:

— Не Хромов тут виноватый, а я!

Дубров улыбнулся одними губами. Улыбнулся, как человек, умеющий в спорах держаться естественно и спокойно.

— Тебе, Белоусов, нечего волноваться. Береги свои нервы. Они еще пригодятся.

По залу прошел глухой и негромкий ропот, а с заднего ряда, хлопнув ладонями о колени, поднялся настух и голосом тонким, пронзительным, словно пропущенным сквозь свисток, крикнул:

— Это моя недоглядка! Руководство тут ни при чем!

Круглая голова Дуброва наклонилась к плечу, и всем стало ясно, что он Латкина осуждает за то, что тот не вовремя сунулся в разговор. Однако Дубров улыбнулся и громко спросил.

— А точно, что ты виноват?

— Точно!— откликнулся Паша.

— А штраф с тебя удержали?

— Не...

— Так вот за это кое-кому и придется ответить!

И опять по залу пронесся ропот, только более сильный и пересыпанный вздохами и смешками.

Если бы Хромов мог каким-нибудь образом оскорбить Дуброва, заранее зная, что это сойдет ему с рук, то он бы крикнул сейчас что-нибудь обидное, злое. Но делать этого было нельзя, и он молчал, злясь на Дуброва за то, что его унижают при всех.

Самое беспокойное началось, когда председатель собрания беловолосый грузинский Горшков поставил вопрос: кому стоять во главе колхоза? Из глубины зала кто-то испуганно предложил:

— Хромову...

Голос замолк, и возникла угрюмая тишина. С минуту, наверное, длилось безмолвное ожидание. И вот осторожно и медленно родился гул. Потом он разросся, окреп, осмелел, и в шуме явственно зазвучало:

— Мужик деловой! Как будто не зашибает!

— А что корова пропала — это ли диво?

— Грамотный, слава богу! А с грамотным всяко не пропадем!

Голоса еще продолжали звучать тут и там, когда рядом с Горшковым поднялся плечистый Дубров и, опираясь кончиками пальцев о стол, лицом и грудью подался вперед.

— Белоусов, выходит, не нравится вам?

— Нравится!— громко рвануло из зала.

— Худо, значит, работал?

— Добро!

— Добро работал, а председателем не хотите!

— Хотим!

Дубров уселся с улыбкой усталого человека, который выиграл трудный спор. И тут же поднялся Горшков.

— Кто за то,— зычно выкрикнул в зал,— чтобы во главе колхоза остался Василий Михайлович Белоусов?

По залу от поднятых рук пошел ветерок, а на стене колыхнулись кривые тени. Но не успели тени сойти, как чей-то голос тонко воскликнул:

— Не эдак надо! Не эдак!

Бухгалтер Горшков растерялся, взглянул сначала на

зал, потом на Дуброва — тот побледнел, но освоенная за много лет привычка быть ко всему и всегда готовым помогла ему взять себя в руки и требующе спросить:

— Что? Что такое?

— Надо было сперва за Хромова голосовать!

— А какая тут разница? Никакой!

— Не скажи! Мы хотели Михалыча отпустить из колхоза! А теперь получается что? Омманули его?

— Но собрание проголосовало за старого председателя! Это о чем-нибудь говорит?

— Говорит об том, что были мы растерялись!

Дубров скептически улыбнулся, а бухгалтер Горшков прокричал:

— Это что за выходка, Латкин? Немедленно прекрати! Кто позволил тебе срывать собрание и безобразить?

Паша, дергая головой и плечами, рвался что-то сказать, но его отговорили.

— Будет те, зимогор! Чево добьессе? Пятнадцать суток! Али охота?

Горшков на одном длинном выдохе проговорил:

— А сейчас, товарищи, начнем выбирать членов правления!

Собрание продолжалось, а Василий Михайлович душой был где-то вдаль, в стороне и думал о том, что семья у него, кажется, развалилась. Если он не уедет в город, а сейчас уже точно, что не уедет, то жена к нему может и не вернуться. «Будем друг другу письма писать», — слабо усмехнулся он и услышал, как Горшков объявил:

— На этом собрание разрешите считать закрытым!

...Шарканье валенок и галош, скрип деревянных сидений, говор слились в рокочущий гул, который вместе с толпой рванулся к выходу.

Дуброву было неловко смотреть в глаза человеку, которого он вынужденно подвел. Но что ему оставалось делать, если сам Холмогоров пожелал, чтобы Белоусов по-прежнему возглавлял колхоз «Маяк». Разговор об этом у них состоялся вчера. Холмогоров сказал:

— Хромова в «Маяке» не любят.

— Но Белоусов сделал прицел на город.

— Знаю, что сделал.

— Дак как теперь? — удивился Дубров.

— Поторопились...

— Значит, Хромову председателем не бывать?

— Конечно, конечно. И зоотехником-то, не знаю...

— Ну и дела. Как теперь с Белоусовым быть? Ведь это так его огорошит, так его огорчит.

Холмогоров согласно кивнул головой:

— Знаю. Хороший он человек. Очень хороший. И здесь бы у нас пригодился. Но отпустить его из колхоза сейчас невозможно. Никак! Понимаешь? Ты уж ему объясни, должен понять.

...Белоусов пытался понять. Он сидел в обезлюдившем зале, поставив локти на стол, а ладонями подпирая лицо, постаревшее от морщин и фиолетовых мешков под глазами. Дубров, блестя гладко выбритой головой, ходил взад-вперед по скрипевшему полу и убеждал:

— Обижаешься, Белоусов? А зря. Пойми меня правильно. Я иначе не мог. Хромов не тот человек.

— Как же он будет теперь?— спросил Белоусов, почувствовав к зоотехнику жалость.

— Здесь ему оставаться нельзя,— ответил Дубров.— Переведем в другое хозяйство.

— Председателем?

— Что ты? Не больше, чем зоотехником.

— Пусть бы сам он решал. Все же семья у него.

Сказав, Белоусов понурился, вспомнил свою Серафиму, которая в эти дни в городе готовится к новоселью, ведь он завтра должен быть там, чтоб сесть во главе застолья и поднять первый тост за счастливую жизнь под крышей нового дома. Председатель провел пальцами по лицу так сильно, что на щеках остались белые полосы.

— А мне, значит, тут оставаться. До пенсии или... до гроба?

— Зачем так трагично?— сказал Дубров, подбирая слова, чтобы поднять Белоусову настроение.— В конце концов ты должен понять: колхоз без хорошего председателя, что стадо без пастуха. Главное духом не падай. Сколько тебе годов?

Белоусов молчал, потеряв желание поддерживать разговор, который теперь для него не имел значения.

— Пятьдесят три!— продолжал Дубров.— Самый зрелый возраст мужчины. А что устал, так это дело поправимое. Мы тебя на курорт, на Черное море отправим. Ну? Что скажешь? Соглашайся!

Белоусов поднялся со стула, пробормотал: «Я пой-



ду» — и, пожав Дуброву ладонь, прошел в раздевалку.

На улице было морозно. Иней лежал на перилах, на проводах. Светили звезды, луна, окна — и снег в палисадах казался голубоватым. Вверху, на белых ветках берез, темнели сороки. Было их много. Белоусов замахнулся на них шапкой, но птицы не шелохнулись. Они сидели задумчиво и безмолвно и, казалось, сочувствовали ему. Подуло морозным ветром. Белоусов сунул руки в карманы и зашагал. Фигура его, с низко опущенной головой и вздыбленным воротником полушубка, выражала отчаяние человека, которому надо что-то решить, а что именно, он и не знает.

## 11

Подле дома с шатровой крышей Белоусов остановился. Окна были освещены, и из форточки темным снопом выплывал папиросный дым. Василий Михайлович разглядел мужичьи широкие спины, давно не стриженные загривки, плечи, бороды, бритые рты. И Пашу он разглядел. Хозяин был в меховой безрукавке, надетой на синюю кофту, в вязаных толстых носках и серых опорках, едва прикрывавших стопы ног. И тут Василий Михайлович смутился, так как Латкин подошел вплотную к окну и посмотрел на него, видимо, узнавая. Белоусов успел сделать несколько быстрых шагов, но крылечная дверь растворилась, и в ней показался хозяин. Спустившись с крыльца, он пробежал по мерзлым мосткам.

— Михалыч? Может, зайдешь?

— Нет, нет,— отказался Василий Михайлович,— я ведь случаю.

— Худо тебе, Михалыч. Давай-ко зайди...

— Нет, нет,— повторил Белоусов.

Еще минуту назад он был в том безвольном, сломленном состоянии, когда хочется чьих-то уговоров, сочувственных вздохов и утешений. Но вот настала другая минута, и он с холодной ясностью понял: его успокоит, утешит и укрепит лишь только работа. Да, да, та самая, которой он отдал всю свою жизнь и с которой хотел сегодня расстаться.

Луна заходила за лес, смещая в сторону тени деревьев. По сугробам от Песьей Деньги колыхались во-

локна снегов. Белоусов видел привычно знакомые, старенькие, родные, как обломки его души, посадки Сорочье Поля, от которых поздно было уже уезжать, поздно было с ними прощаться.

Никого не звал Паша к себе, а столько народу набилось, что негде было сидеть. Кто-то умудрился устроиться на полу, кое-кто на приступках печи, а Борька Углов, любивший везде и во всем удобство, залез на полати, где почивал практикант. Пахло подошвами валенок, дымом и потом. Для пришедших сюда мужиков собрание будто и не кончалось. Говорили, кашляли, охали и ругались, и трудно было что-нибудь разобрать. Но тут резкий голос хозяйна прорезал галдеж:

— Кончай балагурить! Мне завтра рано вставать!

— Высписсё!— ответили мужики.

— Да и парню вон,— махнул Паша рукой на полати, откуда галочьим темным крылом свисали волосы практиканта,— отдыхать не даете!

— Пущай привыкает! Не инженер!

Паша расстроено проворчал:

— Надо было не этта, а там говорить, тогда бы другое и получилось.

— А другого-то нам ни к чему!— отозвался с полатей Углов.— Нам окромь Белоусова никого не надо!

Говор еще не утих, а Паша подкинул новую тему для перепалки.

— Забавно нам, мужики! А Михалычу каково? Здорово мы его! Сперва в городок отпустили, а после хватъ за ручки да и назад! Председательствуй снова!

— В сам деле робята! Ведь дом у него в городу!

— Да и работу сулили полегче!

— Обидели мы мужика! Во как!

— От такой обиды очураешься не вдруг!

— Тихо, робята! Е-е! Паша заговорил!

— Счастье, робята, не разглядишь. Оно потому и счастье, что дышитса от него! А ежели ты дышишь— стало быть и живешь! Чего еще лучше!

Латкин, спрашивая, заметил, что мужики приятно возбуждены, довольны беседой и что если бы дома не ждали их жены, то остались бы здесь сидеть до утра.

На одной неделе помимо премии получил Паша Латкин и годовые остатки. Скопилось за двести рублей. Стал думать, как бы лучше деньгами распорядиться. Купить телевизор — так старый еще не изломан. Печку переложить — опять же эта еще не худая. Так ничего толком Паша и не решил. Положил деньги на верхнюю полку посудного поставца. Положил и как забыл. И, быть может, долго о них бы не вспомнил, если бы однажды, встав утром с кровати, не почувствовал слабость в коленках и жар в голове. Стало ясно, что заболел. «Вылечусь ли? — подумал. — А ежели нет? Ведь может такое: слягу и боле не встану...»

В этот же день, взяв с собой постояльца, купил два ящика водки и на вопрос продавщицы: «Неуж кто приехал?» — загадочно улыбнулся:

— Приедут.

Постоялец его Шура Муни, хотя и считал себя юношей дошлым, но тоже не мог ничего понять.

— Куда так много?

— На поминки, — ответил Латкин.

— На чьи?

— На мои.

Постоялец, пожав плечами, заозирался, точно не был уверен, что это сказал ему Паша. Но в доме, кроме хозяина, не было никого.

— Но ты ведь еще живой...

— Седни жив, завтра нет.

Сказал это Латкин полусерьезно-полушутя, ибо питал хоть и слабую, но надежду, что ничего опасного пет и боль через часик-другой поутихнет, а там и совсем, быть может, пройдет.

...Собрались мужики. В доме — дым коромыслом. Одни гости сменялись другими. Кто-то что-то доказывал, кто-то всхлипывал, кто-то смеялся, а Борька Углов, качаясь на табуретке, перепел все эстрадные песни и теперь принялся за арии из оперетт. Голоса провожальщиков, звон стаканов, Борькина песня — все это Паша хотя и слышал, но в сознание не пропускал. Он сидел взъерошенный, молчаливый, остановясь каменеющим взором на чьей-то руке, лежавшей, будто большое полено, на середине стола. Паша был оглушен, но скорей не водкой, а вопросом: «Долго ли еще поживу?» В голо-

ве шевелилась страшная мысль: «Может, недолго. Зачем и жить, ежели все уже было? Чего впереди мне светит?» Паша тяжело вздохнул. Его охватило раздражение, захотелось смахнуть со стола все, выгнать немедленно всех...

В полночь, когда опустела изба и Латкин остался среди волокоп синего чада, на него накатилась такая тяжелая, глухонемая тишина, что он испугался и крикнул:

— Шурка?

Постоялец не отозвался. Паша прислушался к тишине. Она казалась какой-то чужой, будто ее притащили сюда из самых глухих закоулков и приказали следить за хозяином дома. Паша выскочил на рундук и, услышав трели гармошки, повернулся к пятистенку, стоявшему через дорогу, где всю продолжалось веселье. Ах, как приветно забилося сердце! Куда подевались уныние и тоска?

Латкин спешил на голос гармошки, обалдело-счастливый, сияющий, словно выбежавший из сна. Неожиданно он споткнулся. А ветер, дунувший от реки, донес завывающий голос:

— О-у-ууу!

Латкин стал, будто его укололи, и смущение охватило душу. Он узнал голос зоотехника и смекнул, что Хромов попал в ту самую полынью, которая всегда остается до лета. Он заругался:

— Какого дьявола там его носит!—и направился было к высокому пятистенку скликнуть на помощь народ, но одумался, сообразив: «Люди-то навеселе, полезут вслепую спасать, и вдруг еще кто захлебнется».

— То-о-оу-ууу!— вновь донеслось от реки, и такая мольба послышалась в этом крике, что Паша продрог и, свернув с дворовой тропы, побежал по сугробному косягу. И пока торопился, влезая на изгородь, спускаясь к реке, запинаясь за хвойные вешки, сердце его наполняла большая тревога. Он очень боялся, что Хромов не выдержит и утонет.

Остановился Латкин шагах в пятнадцати от полыньи. И жуткая оторопь охватила его. Зоотехник слабо барахтался и пыхтел, не в силах выкатиться на льдину. Голос его был слабый и жалкий.

— Помогн...

В ноги метнуло снежной крупой, и Паша, точно под-

толкнутой, сделал опасный шаг. «Надо бы доску с собой прихватить», — запоздало подумал он.

— Потерпи! Э-э!

Паша пополз, и чем ближе он придвигался к тонущему, тем яснее видел его лицо с трясущимся подбородком и искривленным от холода ртом. Снег около полыньи был весь в следах пальцев. Держался Хромов, видимо, долго. Протягивая руки вперед, Паша вдруг ощутил в себе неуверенность, и тут же в мозгу его забарахталась мысль: «А ежели не вытащу?..» Мысль эта его напугала, и он, прижимаясь лицом к шершавому льду, поглядел на черную полынью, как на смерть, и схватился за стывшие пальцы тонущего.

Спина его напряглась, и Хромов, освобожденно вздыхая, завывирался было наверх. Но тут послышался хруст — ломалась окраника льда, — и Паша соскользнул, проваливаясь лицом и руками в яростный холод. Вынырнув, он ослепленно взглянул и увидел, что Хромов держится в битой шуге.

— Давай! — скомандовал Паша. — Цепляйся руками, а я за ноги подыму!

Выбирая из полыньи его ноги, Паша почувствовал их свинцовую тяжесть, потому и толкнул зоотехника что было сил. Толкнул, теряя всякую осторожность, и быстро-быстро вцепился в лед, который негромко хрупнул, и тонкий кусочек его остался в трясущихся Пашиных пальцах.

— Не! Не! — крикнул Паша, с предсмертной ясностью постигая, что случилось жестокое, глупое и не нужное никому. Он снова попробовал крикнуть, но ноги его потащило ко дну, а в открывшийся рот полилась вода. Сердце толкнулось и стало мучительно разрываться. «А Хромов-то жив!» — мелькнуло в мозгу, и лицо его заплеснуло водой, сквозь которую Паша увидел такое родное и близкое небо, а на нем единственную звезду, каким-то чудом прорвавшуюся сквозь тучи.

Хромов бежал в угор, как недобитый зверь, спотыкаясь, падая и хватая пальцами намерзши снега. Он не верил, что Латкина больше нет. Он верил в свое несчастье, в то, что ему так жестоко не повезло и что все теперь будут показывать на него и осуждающе говорить:

«Это он. Это из-за него».

Он выскочил на дорогу и повернул направо, в сторону дома, но чувство вины и желание как-то ее загладить остановили его, и он, звеня обледенелой одеждой, пустился на звуки гармошки, летевшие в ночь с председательского крыльца. Прорвавшись сквозь чьи-то руки в теплую кухню, он увидел гуляющих мужиков, среди которых был и Василий Михайлович Белоусов.

— Человек утонул, а вы!.. — прохрипел зоотехник.

— Кто утонул? — спросил Белоусов.

— Латкин. В полынье. Я тоже туда провалился, да выбрался кое-как.

Белоусов дрогнул — и бледная желтизна проступила на его лице, и стало ему нестерпимо больно за Пашу.

— Переодеться бы мне — замерз, — сказал умоляюще зоотехник.

И всем почему-то стало противно. Все посмотрели в лицо Белоусова так, словно только один он знал, чем надо на это ответить.

И не успел Белоусов еще ничего сказать, лишь вскинул брови и сделал шаг к двери, как мужики в едином порыве двинулись следом.

Но, когда приблизились к полынье, пропихнули к ней несколько досок и, пробравшись по ним к окраинке льда, увидели черное зеркало тихой воды, то суеверно переглянулись. И, отползая назад, уже знали, что Пашу не вытащить.

...Утром, чуть свет, вся деревня высыпала на берег и сквозь хлопья летящего снега смотрела на полынью, дышавшую холодом и тревогой. И Белоусов стоял, прислушиваясь к себе, и верил, что в эту минуту с ним разговаривает его душа. Не беда, говорила ему душа, что уехала Серафима. Не беда, что в его доме снова пусто и одиноко. Не беда, что придет к нему зоотехник и подаст заявление на расчет. Беда, что не стало в Сорочьем Поле хорошего человека. Беда, когда он, Белоусов, отстранится от этих людей, уедет от них, неуверенно попрощавшись.